

УЛЬЯНА СОБОЛЕВА

ЦЕРНЫЕ
ВОРОНЫ
—XIV—
СМЕРТЬ
В ЕГО ГЛАЗАХ

СОДЕРЖИТ
НЕЦЕНЗУРНУЮ
БРАНЬ

Любовь умирает не сразу. Сначала она хоронит.

18+

Ульяна Соболева

**Черные вороны 14.
Смерть в его глазах**

«Автор»

2026

Соболева У.

Черные вороны 14. Смерть в его глазах / У. Соболева — «Автор», 2026

Макс вернулся не за прощением. Он вернулся, чтобы уничтожить женщину, которая однажды лишила его семьи, детей и права знать правду. Дарина была готова к его ненависти. К унижениям, обвинениям и жестокости. Но не к тому, что спустя годы одно прикосновение этого мужчины по-прежнему заставит её сердце предательски биться. И не к страшной тайне, способной разрушить всё, что она так отчаянно пыталась спасти. Макс уверен: она предала его со Стефаном, а дети, которых он считал своими, могут оказаться чужими. Ревность превращает любовь в оружие, прошлое возвращается за расплатой, а правда становится опаснее самой беспощадной лжи. Между ними слишком много боли, слишком много крови и слишком сильное чувство, которое не сумели убить ни годы, ни разлука, ни ненависть. Но что произойдёт, когда Макс наконец узнает правду? Сможет ли он простить женщину, которую любил до безумия? И останется ли у них время, если смерть уже смотрит на него из собственных глаз?

© Соболева У., 2026

© Автор, 2026

Ульяна Соболева

Черные вороны 14. Смерть в его глазах

СМЕРТЬ В ЕГО ГЛАЗАХ

Черные вороны 14

Ульяна Соболева

Аннотация

Самое сложное после воспоминаний — не думать о том, каким в них был её взгляд, как выворачивал он наружу своей абсолютной любовью вперемежку с дикой страстью. Возможно, я всё ещё до хрена чего не помнил, возможно, Лис вернул мне не все воспоминания, но понимал одно: так на меня ещё никто и никогда не смотрел. И всё же стоило ей открыть глаза, как во мне снова поднималась чёрная, тягучая ненависть. Потому что в её небесном взгляде я видел одно слово. Ложь. И не знал, кто именно научил меня читать его там.

Максим Воронов

Глава 1

Первым ко мне вернулся звук. Не боль — эта сука не спешила, прекрасно зная, что я от неё никуда не денусь. Она ждала где-то под кожей, расплзалась по избитому телу густой чёрной смолой и позволяла мне несколько милосердных секунд считать капли, срывающиеся с чьих-то пальцев на бетон. Кап. Кап. Кап.

Я открыл глаза и увидел собственные ботинки. Один шнурок развязан, светлая кожа залита кровью, и я понятия не имел, моя она или чужая. Эта неизвестность показалась почти смешной. В мире, где люди знают о тебе всё — имя матери, любимую марку сигар, первую девчонку, место старого перелома, — единственной тайной остаётся, чья кровь засыхает на твоих ногах.

Два месяца назад мы стояли в зале дома Романа и слушали, как мама клялась выбрать отца вопреки его приказам, убийствам и новой форме. К рассвету дом пришлось оставить: один из запасных выходов засветили, над кварталом пошли беспилотники, а на соседней улице появилась группа Карателей. За следующие восемь недель мы сменили пять подвалов. На третьей неделе кончились свежие продукты, на пятой — нормальный сон, а потом домом стали называть любое место, где дверь удавалось запереть хотя бы на одну ночь.

Мама вошла в шестой месяц. Живот уже невозможно было спрятать даже под мужской курткой, и девочка толкалась всякий раз, когда рядом гремело. У Таи давно остался только шрам, и она держала пятилетнего Марка за руку и уговаривала идти дальше; когда он устал, его несли взрослые. Вчера я оставил их с Андреем в двенадцатом убежище. Радич повёл туда колонну с женщинами, детьми и последними ящиками лекарств.

Мы с Глебом остались у старой насосной станции, чтобы отправить погоне ложный маршрут, дожидаться подтверждения эвакуации и уйти через коллектор. Колонна ушла, сигнал дошёл. До последнего пункта нас не пустили светошумовая граната, приклад и численное превосходство. План сработал ровно наполовину: семья получила несколько часов, а нас взяли.

Попытался пошевелиться, и боль наконец-то решила перестать кокетничать. Взорвалась под рёбрами, прошла раскалённой арматурой вдоль позвоночника, ввинтилась в плечи и сжала затылок так, будто кто-то изнутри раскалывал череп зубилом. Меня вывернуло до мурашек, побежавших от копчика к шее. Горло пересохло, во рту стоял металлический привкус, а пальцы за спинкой железного стула почти не чувствовались — пластиковый хомут перетянул запястья до мяса. Напротив висел Глеб.

Именно висел. Запястья в наручниках, цепь переброшена через крюк под потолком, носки тяжёлых ботинок едва касаются пола. Чёрная футболка превратилась в мокрую багровую тряпку, на красивом лице не осталось живого места. Один глаз заплыл, губа рассечена, по подбородку тянется тонкая струйка крови. Обычно спокойный, собранный, с тем самым холодным взглядом, от которого люди начинали вспоминать грехи ещё до того, как он задавал вопросы, сейчас мой друг выглядел куском мяса, который забыли снять с крюка после разделки.

У меня внутри что-то протяжно заскрипело, как кость под тупой пилой.

— Глеб.

Голос вырвался сиплым, будто горло набили битым стеклом. Глеб не ответил. Только пальцы дрогнули. Жив. Пока жив. Я заставил себя отвести взгляд. Нельзя смотреть на него дольше секунды. Нельзя позволять этим ублюдкам понять, что каждый его вдох сейчас вытягивает из меня по жиле. Они и без того знали, что мы пришли вместе, но пока не знали главного: насколько легко можно распороть одного из нас болью другого.

Помещение оказалось маленьким, низким, без окон. Голые стены, слив в центре пола, камера под потолком и железный стол, на котором инструменты лежали с аккуратностью музейных экспонатов: ножи, плоскогубцы, медицинские зажимы, моток провода, шприцы, пластиковая бутылка с водой. Возле двери стояли двое в чёрной форме без знаков различия. Третий сидел на краю стола и листал что-то в телефоне, словно ждал не моего пробуждения, а начала скучного совещания.

Заметив, что я открыл глаза, он улыбнулся. На вид лет сорок, широкое серое лицо, маленькие глазки и руки мясника. Такие ладони способны заботливо держать ребёнка и с той же нежностью вырывать человеку ногти.

— Очнулся, красавчик. А мы уже решили начинать без зрителя.

— Начните с себя. — Я облизнул лопнувшую губу и почувствовал свежую кровь. — Прострелите друг другу головы. Клянусь, я не обижусь, если пропущу первый акт.

Он медленно убрал телефон.

— Точно Воронов.

— Обидеть хотел? Тогда тебе придётся придумать что-то серьёзнее фамилии, которой твоя контора пугает непослушных детей.

Он ударил меня без замаха, ладонью. Голова мотнулась в сторону, перед глазами вспыхнуло белым, а во рту стало ещё больше крови. Я медленно повернул лицо обратно и сплюнул ему под ноги.

— Слабо. У вас тут стажёров на допросы ставят или ты по квоте для умственно отсталых?

Второй удар опрокинул стул. Плечо впечаталось в бетон. Щекой я проехался по шершавому полу, сдирая кожу, и на короткую секунду потерял воздух. Рёбра завывали так, что из горла едва не вырвался стон. Я проглотил его вместе с кровью. Подавился, закашлялся и всё равно рассмеялся, хотя смех резал внутренности тупым ножом. Меня подняли. Комната качнулась, затем снова встала на место.

Мясник присел передо мной на корточки и взял за волосы, запрокидывая голову. В его глазах горел азарт человека, который наконец-то нашёл игрушку, способную ломаться медленно.

— Где Дарина Воронова?

Сердце ударило по рёбрам так сильно, что боль стала почти звуком. Мама. Уставшая, бледная, с животом, который на шестом месяце уже не спрятать ни под какой курткой. В последний раз я видел её в тоннеле: одной рукой она держала меня, второй — дочь под сердцем. За её спиной Тая стояла прямо и упрямо; о давнем ранении напоминал только бледный шрам. Марк впился в мой рукав и потребовал: «Поклянись, что вернёшься». Я снял его пальцы со своей куртки по одному и сказал, что забыл, как клянутся хорошие братья. Он надулся и поверил шутке. Тая — нет. Она смотрела мне вслед так, будто заранее запоминала последний раз.

Перед самым поворотом Марк сорвался следом, и Тая поймала его за капюшон. Он кричал, что я забыл поцеловать маму и сестрёнку. Я поднял руку, словно обещание можно заменить жестом, и отвернулся раньше, чем они увидели, как она дрожит. Теперь дрожали мои пальцы — от жара, стыда или мысли, что я уже опоздал. Я не поклялся. Не смог.

Потому что никогда не даю обещаний, которых могу не выполнить.

— Не знаю такую.

Пальцы в волосах сжались.

— Твоя мать.

— У меня их несколько. Ты уточни, которая.

Ублюдок выпрямился и кивнул подчинённому. Тот подошёл к Глебу, взял его за подбородок и поднял голову. Друг открыл уцелевший глаз и посмотрел прямо на меня. Без мольбы. Без страха. С едва заметной насмешкой, будто хотел сказать: «Ты серьёзно из-за этого хмыря переживаешь?» Меня пробрало холодом до костей. Я слишком хорошо знал этот взгляд. Глеб так смотрел, когда ему было невыносимо больно и он боялся, что мы это заметим.

— Ещё раз, — произнёс мясник. — Где твоя мать?

— Понятия не имею.

Кулак вошёл Глебу под рёбра. Его тело дёрнулось, цепь звякнула, из груди вырвался сдавленный хрип. Я заставил себя не шевелиться. Только зубы стиснул так, что в висках застреляло.

— Где Андрей Воронов?

— В Караганде.

Новый удар. Глеб согнулся, насколько позволяли поднятые руки. По его лицу прошла судорога, и я почувствовал её в собственном животе, словно кулак вошёл в меня. Хотелось вцепиться зубами в горло того ублюдка, вскрыть его, разорвать и месить руками горячие внутренности до тех пор, пока они не перестанут двигаться. Вместо этого я улыбнулся.

— Где архив Радича?

— В Караганде. Рядом с Андреем. Они там санаторий открыли для бывших карателей. Тебе скидку оформить?

Мясник посмотрел на стол.

— Хорошо. Давай попробуем иначе.

Он взял плоскогубцы. Глеб перевёл взгляд на инструмент, потом снова на меня. Его лицо оставалось спокойным, но на лбу выступила испарина.

— Яш, — выдохнул он, — даже не думай.

Первое слово от него ударило сильнее чужих кулаков.

— Ты ошибся адресом, — ответил я, стараясь, чтобы голос звучал лениво. — Я вообще редко думаю.

— Это правда. — Окровавленные губы Глеба дрогнули. — Всегда говорил, что ты семейный брак.

— Завидуй молча. Не всем везёт родиться красивыми.

— Ты на себя давно смотрел?

Каратель ударил его по почкам. Глеб вскрикнул, не успев спрятать звук, и этот короткий крик содрал с меня кожу. Внутри будто выдернули нерв и намотали на раскалённый штырь. Я рванулся, стул заскрежетал по бетону, хомут впился глубже, разрезая запястья. Мясник заметил. Конечно, заметил. Его улыбка стала шире.

— Вот оно. А я уже думал, у принца Воронова ничего живого не осталось.

Он зажал плоскогубцами ноготь на указательном пальце Глеба.

— Стой.

Слово вылетело само. Трое посмотрели на меня. Глеб медленно качнул головой.

— Не смей, Яша.

— Заткнись.

— Я тебе кости переломаю, если заговоришь.

— Очень страшно, особенно сейчас.

Я перевёл взгляд на мясника.

— Что именно тебе нужно?

— Всё. Координаты убежища. Имена. Маршруты. Оружейные склады.

— А ключ от квартиры, где деньги лежат, не дать?

Плоскогубцы потянули вверх. Глеб выгнулся. Крик захлебнулся в горле, но я увидел, как из-под металла показалась кровь, как ноготь отделился от мяса, и меня вывернуло изнутри. Кислота поднялась к глотке. Я проглотил её, зажмурившись всего на мгновение, и перед глазами появилась мама. Её ладонь на моей щеке. «Он твой отец. Помни об этом, Яша». Отец.

Если он действительно командовал этими людьми, значит, это он подвесил Глеба на цепь. Он позволил вырывать ему ногти. Он сделал нас мясом на собственном крюке. И всё же где-то в самом жалком, детском, тщательно задушенном куске меня продолжала жить уверенность: если отец войдёт, всё закончится. Я ненавидел себя за неё.

— Где убежище? — повторил мясник.

— Пошёл на хрен.

Ноготь оторвался. Глеб закричал. В этот раз громко. Его крик ударился о стены и вернулся ко мне эхом, раздробив остатки самообладания. Слёзы сами выступили из глаз — не от моей боли, а от бессилия. Я моргнул, но одна всё-таки сорвалась, прошла по содранной щеке, смешалась с кровью. Мясник увидел и довольно облизнул губы.

— Плачешь, принц?

— От твоей тупости. Она физически мучительна.

Он подошёл и размазал слезу большим пальцем. Затем сунул окровавленный палец мне в рот.

— Оближи.

Меня затрясло. Не от страха — от унижения, такого густого, вонючего, что оно забило лёгкие. Хотелось откусить ему палец, но я понимал, чем это закончится для Глеба. Поэтому медленно провёл языком по чужой коже, чувствуя вкус собственной крови и слёз. Мужчина засмеялся.

— Вот и молодец. Воронов всё-таки умеет быть послушным.

Я смотрел ему в глаза и улыбался разбитыми губами, пока внутри меня рождалось обещание. Я запомню его лицо. Каждый прыщ, каждую морщину, запах пота, форму зубов. Если выберусь, он будет жить долго. Намного дольше, чем захочет.

— А теперь скажи адрес.

— Наклонись ближе.

Он приблизился, уверенный, что победил. Я плюнул ему в лицо. Удар был такой силы, что стул снова опрокинулся. На этот раз голова ударилась о бетон. Мир погас, вернулся красными волнами, и сквозь них я услышал, как Глеб матерится, как его бьют, как хрустят, кажется, мои собственные рёбра.

— Хватит, — раздался за дверью спокойный голос.

В комнате стало тихо. Даже боль на секунду притихла вместе со всеми. Меня подняли. Я повис на ремнях, силясь сфокусировать взгляд. Сначала увидел чёрные ботинки. Затем длинные ноги, форму без единой складки, сильные руки в тонких кожаных перчатках. Сердце остановилось. Нет. Оно не разбилось — для этого требовалась хотя бы секунда. Оно просто прекратило существовать, оставив в груди пустую дыру, через которую хлынул ледяной воздух. Максим Воронов стоял в дверях. Мой отец.

Коротко стриженные тёмные волосы, чисто выбритые жёсткие скулы, прямой нос и тонкий белый шрам у виска. Высокий, невыносимо красивый той хищной мужской красотой, от которой когда-то женщины забывали имена, а враги — последние молитвы. Он казался моложе

и одновременно старше, будто с лица соскоблили прожитые с нами годы, но оставили все пережитые смерти. И глаза. Его проклятые синие, как васильки под ясным небом, глаза, которые я узнавал бы даже в аду. Только теперь в них не было ни ярости, ни любви, ни привычной насмешки. Ничего, что принадлежало моему отцу.

Он посмотрел на Глеба, на оторванный ноготь, на меня. Взгляд скользнул по лицу, задержался на крови и прошёл дальше. Не узнал.

Я ждал этой встречи, ненавидел её, представлял тысячи раз, что скажу, как ударю его, как потребую объяснений за мать, за нас, за каждую ночь, когда она захлёбывалась слезами, а я лежал рядом и делал вид, что сплю. Но сейчас внутри меня был маленький мальчик, беззаветно влюблённый в отца. Он рвался наружу, хотел позвать, броситься к нему, спрятаться за его спиной и поверить: папа пришёл, теперь нас никто не тронет.

Мне стало так стыдно, что захотелось сдохнуть прямо на этом стуле. Отец подошёл к мужчине с плоскогубцами.

— Кто разрешил использовать инструменты?

— Они молчат.

— Я спросил, кто разрешил.

— Никто, но я решил...

Максим вытащил пистолет и выстрелил мужчине в лоб с расстояния шага. В низкой комнате заложило уши. На стену брызнуло тёмным, тело рухнуло к ногам Глеба, а плоскогубцы звякнули о бетон. Отдача дёрнула отца за левый бок, но он уже смотрел на меня. Я не понял, кого он только что наказал: подчинённого, нарушившего приказ, или ублюдка, посмеявшегося тронуть его сына. Самое мерзкое — надежда без моего разрешения выбрала второй ответ.

Я смотрел на отца и чувствовал, как надежда снова поднимает голову. Жалкая, изуродованная, но живая.

— Пленных не калечить без моего приказа. — Максим снял испачканную перчатку и бросил её на мертвеца. — Если человек не понимает приказ с первого раза, второй ему уже не потребуется.

Он направился ко мне. Каждый его шаг вколачивал меня глубже в стул. Я чувствовал знакомый запах сигар, кожи и горького парфюма. Запах отцовского кабинета. Запах дома, которого больше не существовало. Максим остановился совсем близко.

— Имя.

Я рассмеялся. Смех получился мокрым, почти похожим на рыдание.

— Серьёзно?

Он ударил меня по разбитой скуле. Не сильно по сравнению с остальными, но именно этот удар оказался самым болезненным. Потому что я знал эту ладонь. Она лежала у меня на плече на семейных фотографиях, вправляла сломанный нос, держала затылок, когда отец говорил, что мужчина имеет право бояться, но не имеет права позволять страху принимать решения.

— Имя.

— Яков Воронов.

Ничего. Даже ресницы не дрогнули.

— Возраст.

— Семнадцать. Ты должен был знать без досье.

Один из карателей хмыкнул. Максим не обернулся, но смех мгновенно оборвался. Он наклонился, упираясь ладонями в подлокотники. Его глаза оказались напротив моих.

— Где Дарина Воронова?

— Найди. Ты же всегда находил её. Даже когда она сама не хотела, чтобы её нашли.

В синеве что-то дрогнуло. Я рванулся к этой трещине всем существом.

— Посмотри на меня. Не как на пленного. Нормально посмотри. Ты говорил, что я слишком похож на тебя. Мать радовалась, тебя это бесило, а я ненавидел, когда вы обсуждали моё лицо, будто меня рядом нет.

— Заткнись.

Я заставил себя не отвести глаза. — Ты учил меня стрелять. Сломал мне нос, когда я полез за тобой на тренировку. Сам вправлял, потому что к врачу везти было стыдно.

— Заткнись.

— Ты называл меня Яшей только тогда, когда боялся за меня.

Его пальцы сжались на металле. Сжались так сильно, что побелели костяшки. Он слышал. Он слышал. Не вспоминал — на память я уже не смел надеяться, — но реагировал на точную деталь так, как реагируют на знакомую боль: ещё до того, как успевают назвать её источник. Максим резко выпрямился.

— Уведите второго.

Каратели сняли Глеба с цепи. Он рухнул им на руки, но нашёл силы поднять голову.

— Не верь ему, Яш, — прохрипел он. — Что бы он ни сказал.

Я смотрел только на отца. Он развернулся к двери. И тогда проклятый мальчик внутри меня победил. Разорвал взрослого, злого, давно никому не доверяющего Якова Воронова и вырвался наружу одним словом:

— Пап.

Максим застыл. По моему лицу снова потекли слёзы. Я ненавидел их, ненавидел себя, ненавидел его за то, что именно перед ним я опять стал ребёнком, который просыпался от каждого шороха и ждал, что отец вернётся.

— Папа, посмотри на меня.

Он повернул голову медленно, на секунду прикрыв глаза, словно слово попало в место, которое он считал надёжно омертвевшим. На одно бесконечное мгновение я увидел боль живого человека. Потом её затопила ярость.

— Мой сын погиб много лет назад, — произнёс он чужую, слишком ровную фразу. В ней не было памяти о смерти — только выученная уверенность человека, которому однажды показали нужную версию прошлого.

В эту секунду во мне умер тот мальчик. Не красиво, не тихо. Он захлебнулся кровью, сдох у ног собственного отца и оставил после себя только осколки, режущие внутренности на каждом вдохе. Максим вышел, не оглянувшись.

Я смотрел на закрывшуюся дверь и смеялся, пока смех не превратился в вой, а вой — в беззвучные судороги, от которых ломило кости. Я больше не пытался спрятать слёзы. Пусть смотрят. Пусть наслаждаются. Они только что увидели, как человека можно выпотрошить без ножа. Отец не вспомнил меня. Но он испугался. А значит, где-то внутри этого мертвеца мой отец всё ещё был жив.

И я собирался докопаться до правды, которую в нём похоронили, даже если для этого придётся пройти через всю систему, которая теперь называла моего отца Мёртвым.

Глава 2

Чужое слово шло за мной по коридору, как пуля, которая почему-то не пожелала убить сразу и теперь медленно проворачивалась в черепе, размалывая память и то проклятое место внутри, где у нормальных людей, наверное, находилась душа. Папа.

Я не обернулся и не ускорил шаг. Бойцы возле стальных дверей вытянулись при моём приближении, поэтому пришлось идти ровно, хотя под чёрной рубашкой выступил холодный пот, а заживший рубец в боку тянуло после резкого движения. Громов требовал покоя после последнего сеанса профессора Захарского. Покой был роскошью для людей, которым приходилось одновременно удерживать город и собственную голову.

Одного слова Якова было мало, чтобы признать родство. Избитого мальчишку могли научить фамилии, интонации, истории о сломанном носе. Но он произнёс его без расчёта — уже после того, как решил, что я позволю убить Глеба. Не приманивал и не торговался. Просто назвал меня так, как называют человека в секунду, когда больше нечем остановить выстрел.

Я шёл и считал сроки, потому что числа хотя бы не менялись от чужого голоса. Пять лет меня не было с семьёй. Почти шесть я служил в системе Карателей. Пятнадцать лет был мужем Дарины, хотя значительную часть этого брака теперь видел только в документах и коротких, спорящих друг с другом образах. Ни один срок не подтверждал версию Лиса. Зато каждый показывал, сколько пустого пространства можно заполнить удобной ложью.

До последнего сеанса Захарского я не считал Дарину врагом. Потом были запах трав, ремни на запястьях, таблетка под языком и один спокойный голос. Он возвращал меня к одним и тем же кадрам, пока её лицо не начало вызывать ярость раньше, чем я успевал понять, что вижу. Теперь одного сорванного слова мальчишки хватило, чтобы ярость опоздала.

Возле умывальной я всё-таки остановился. Из-за двери пахло хлоркой и дешёвым мылом. За спиной продолжал жить штаб: щёлкали замки, гремели тележки, кто-то докладывал о раненых. Я построил порядок, в котором человеческую боль превращали в строки отчёта, и до этой минуты считал себя хозяином механизма. Яков заставил меня впервые спросить, кто на самом деле держит рычаги.

Я вошёл в умывальную, запер дверь и вцепился ладонями в края раковины. Из зеркала на меня смотрел высокий мужчина с коротко остриженными тёмными волосами, жёсткими скулами и белым шрамом у виска, уродующим правильную, слишком спокойную красоту лица. Женщины называли её хищной. Мужчины — опасной. Я называл её удобной маской, потому что никто не задаёт лишних вопросов человеку, который выглядит так, словно ответы ему давно наскучили и он предпочитает выбивать их из других.

— Мой сын жив, — сказал я отражению.

Оно не поверило. Я снял перчатки, открыл воду и сунул руки под ледяную струю. На костяшках остались тёмные точки чужой крови — брызги того человека, которому я минуту назад выстрелил в лоб. Он нарушил приказ, бил связанного Якова и вырвал ноготь Глебу. Этого с избытком хватало для приговора. Но палец лёг на спуск до того, как я успел разложить их по местам: мне достаточно было увидеть избитое лицо мальчишки, которого я уже назвал ценным источником.

Я тёр кожу жёстким мылом, пока костяшки не покраснели, а вода не унесла последние тёмные точки. Порядок требовал помнить: убитый мной человек нарушил приказ, бил связанного пленного и искалечил Глеба. Только в воде снова и снова возникало не его лицо. Там были синие глаза Якова, полные стыда за то, что он всё-таки позвал меня.

В памяти столкнулись два голоса: его упрямое «Не трогай. Я сам» и тихое «Как ты» — с моей насмешкой: «Конечно, сам. Ты же у нас бессмертный».

Воспоминание оборвалось так резко, что меня качнуло. Я ударил кулаком по зеркалу. Стекло взорвалось серебряной паутиной, осколок рассёк ладонь. Кровь упала в белую раковину и расплзлась в воде бледно-розовыми щупальцами. Физическая боль ничего от меня не хотела. А слово «папа» продолжало поворачиваться в голове, как осколок, который невозможно вытащить. В дверь постучали.

За дверью окликнули: «Командир?» Я велел исчезнуть, если здание не горит. Человек за дверью остался: Лис ждал меня. Срочно.

Я прижал полотенце к ладони, открыл дверь и увидел молодого аналитика — тощего, бесцветного, умевшего появляться без звука и смотреть так, будто мысленно уже подписал протокол моего вскрытия. Его взгляд опустился к моей руке.

Аналитик кивнул на зеркало, спросив, оказало ли оно сопротивление. Я велел допросить его: возможно, признается, на кого работает. Уголок его рта дрогнул; глаза остались холод-

ными. Он доложил: пленный в медицинском блоке, второй потерял много крови. Я перебил: у Глеба есть имя.

Слова вырвались быстрее, чем я успел их остановить. Аналитик приподнял бровь, и мне захотелось вдавить его бледное лицо в стену только за то, что он заметил. На вопрос о знакомстве я ответил, что уже прочитал дело. Аналитику посоветовал то же: помогает не выглядеть идиотом.

Мы пошли по коридору. За первой же стальной дверью кто-то вскрикнул — один раз, коротко, будто рот успели закрыть ладонью. Аналитик не повернул головы. Я замедлил шаг и впервые не сумел ответить себе, чей именно приказ там сейчас выполняют. Лампы вспыхивали над нами одна за другой, как бесконечный прицел.

Аналитик передал приказ Лиса доставить Якова к нему. — Нет. — Я не замедлил шага, не оставив ему надежды на торг.

Напоминание о прямом приказе заставило меня остановиться. Аналитик сделал ещё полшага и тоже замер, когда понял, что рядом со мной больше нет безопасного расстояния. На мой вопрос, кому он повторяет приказ, аналитик ответил: «Вам». Кадык дёрнулся над тугим воротником.

Я назвал его смелость бессмысленной и велел оставить пленного в моём секторе. Аналитик сглотнул: Лис считал Якова приманкой.

— Лис может считать себя Господом Богом. Это не обязывает меня вставать на колени.

Аналитик не отвёл взгляда: за Яковом придёт Дарина Воронова. Её имя вошло под рёбра тупым крюком. Тёмные волосы на белой подушке. Женский смех. Тонкие пальцы на моей щеке. Запах кофе и духов, от которого во мне становилось нечем дышать. Затем другие кадры, уже из досье: она передаёт Андрею документы, стоит рядом с Радичем, входит в здание за час до взрыва. Жена, предавшая меня. Женщина из обрывочных снов и подшитых бумаг, которую я ненавидел так сильно, что ненависть слишком часто напоминала голод.

Я отрезал: она не придёт. Аналитик возразил: ради сына — придёт. — Ради моего, потвоему? Он выдержал мой взгляд: именно это Лис предлагал мне выяснить.

Лис ждал меня в кабинете, развалившись в моём кресле так свободно, словно уже примерял не мебель — власть. На столе лежала тонкая чёрная папка. Именно такие папки обычно весили меньше пистолета, но убивали куда больше людей.

— Ты задержался, — сказал он.

Я остановился напротив стола. Пальцы Лиса лежали на подлокотниках моего кресла. — Ты сел на моё место.

— А ты сегодня убил моего специалиста.

— Значит, мы оба позволили себе лишнее.

Лис поднялся. Медленно, без раздражения, с той стерильной аккуратностью, от которой мне всегда хотелось убедиться, есть ли у него под кожей кровь или вместо неё по венам течёт формалин.

Я напомнил, что человек нарушил приказ и избавил Лиса от проблемы с дисциплиной. Лис уточнил, что я избавил от жизни специалиста именно тогда, когда тот коснулся лица пленного.

— Совпадение. — Я говорил ровно, хотя сорванное «папа» царапнуло изнутри. Лис с вежливостью ловушки назвал ещё одно совпадение: я перевёл Якова Воронова в свой сектор.

Чужая фамилия должна была отделить мальчишку от меня. Не отделила. Я по-прежнему слышал его сорванное «папа» и чувствовал, как это слово скребётся изнутри, пытаюсь вскрыть запечатанную память. Я назвал Якова ценным источником. Лис спросил, почему тогда я прекратил допрос.

— Потому что мёртвые источники говорят исключительно с идиотами и священниками.

Лис усмехнулся и подтолкнул папку: он предвидел моё любопытство. На первой странице лежало заключение генетической лаборатории: отцовство исключено. Рядом лежало решение об усыновлении. Одна бумага называла Дарину биологической матерью, другая — приёмной. Кто-то так торопился похоронить моего сына, что не успел согласовать собственную ложь. Я прочёл обе строки ещё раз, уже не потому, что не понимал их, а потому, что понял.

Я спросил, откуда образцы, прижимая темнеющее полотенце к ладони. Лис ответил, что мои образцы хранились после лечения, а кровь Якова взяли после задержания. Я поднял взгляд от подписи. — Без моего приказа? — Тишина закончила угрозу, но Лис напомнил: приказывать мог не только я. Лис не отступил, хотя воздух между нами уже звенел, как натянутая перед выстрелом проволока. Я потребовал подтвердить подлинность экспертизы. Лис кивнул на подписи.

— Я вижу бумагу. Подписи можно купить, печати украсть, лабораторию сжечь.

Лис чуть наклонил голову. — Вот оно. Одного слова хватило, чтобы ты начал защищать совершенно чужого мальчишку.

Я ответил, что защищаю способность думать. Лис возразил, что я защищаю то, что Вороновы вложили мне в голову. Они дали Якову мою фамилию, истории из прошлого и научили замечать слова, на которые я реагирую; такую привычку вырабатывают повторением, точными деталями и давлением на болевые точки.

Я снова посмотрел на фотографию в деле. Разбитое молодое лицо, тёмные брови, синие глаза и ненависть, слишком похожая на мою. Сходство могло быть случайностью, точные истории — подготовкой. Но моя реакция на бумажный стаканчик и мороженое была моей собственной. Или кто-то сумел заставить меня так думать.

— Даже если он не твой сын, то Дарина его родила и скрыла это под усыновлением. Для неё он всё равно кровный ребёнок другого мужчины. Оставалось заставить тебя считать его своим.

Слова о другом мужчине вошли под рёбра тупым крюком. Перед глазами вспыхнула Дарина: густые тёмные волосы, холодные светло-голубые, почти сиреневые глаза, тонкие запястья, губы, вкус которых иногда возникал в моих обрывочных снах, хотя ни одного поцелуя я вспомнить не мог. Рядом появилось лицо Стефана Радича из досье — слишком близко возле неё, слишком уверенно среди детей, которых я отказывался назвать своими.

— Кто его отец?

Лис перелистнул заключение, не торопясь встречаться со мной взглядом. — Она не назвала.

— Не спрашиваю, что сказала она. Спрашиваю, что выяснил ты.

— Пока ничего. — Я швырнул заключение на стол так, что скреплённые листы разъехались веером.

Один из листов скользнул к краю. Лис прижал его одним пальцем, даже не взглянув на два противоречащих друг другу документа. Это спокойствие разозлило меня сильнее любого ответа.

— Тогда твоя работа стоит меньше этой бумаги.

Лис не обиделся. Он вообще редко испытывал чувства, если их нельзя было использовать как оружие.

— Проведём повторную экспертизу, если хочешь. Результат не изменится.

— Образцы возьмут при мне.

— Как прикажешь. Но Яков — только первая часть проблемы.

Он открыл второй раздел. Фотографии, банковские переводы, записи переговоров, тела людей, погибших во время операций Вороновых. Среди снимков была Дарина в чёрном пальто. Она выходила из машины Андрея и держала в руках папку с маркировкой моего подразделения.

— Эти материалы представят на открытом процессе, — сказал Лис. — Дарина Воронова, Андрей, Радич и остальные ответят за терроризм, убийства и попытку государственного переворота.

— Открытом? — Я медленно поднял голову, уже угадывая, какое зрелище Лис собирался продать городу.

— Именно. Временный комитет новой власти уже согласовал состав трибунала и приговор. Им нужен не судья, а твоё лицо: ты доставишь обвиняемых, обеспечишь охрану, а после заседания исполнишь решение. Город должен увидеть, что Мёртвый не пощадил семью.

Я рассмеялся. Тихо, без радости. Я назвал это дешёвой драматургией: муж публично выносит приговор жене. Лиса устраивало, что постановка убедительна: откажусь — все решат, будто обработка Вороновых не снята и я по-прежнему принадлежу предавшей меня женщине.

Я сказал, что никому не принадлежу. Слова прозвучали тише угрозы и заставили Лиса перестать улыбаться. Ответ он бросил после паузы: — Тогда докажи.

Он знал, куда бить. Не в разум — в гордость. В ту искалеченную часть меня, которая предпочла бы умереть, чем позволить кому-то увидеть поводок, даже если поводок существовал только в чужих словах. Я листал материалы. Дарина передавала документы. Дарина входила в дом Радича. Дарина обнимала Якова. В каждом кадре отсутствовало начало и продолжение, но середина выглядела безупречной. Так заранее собирают приговор.

Я потребовал доставить Дарину живой и учитывать беременность в каждом движении: не бросать на землю, не бить в корпус, не давить на живот; после захвата — медик и акушерский осмотр.

Лис заметил, что суд без подсудимой потеряет выразительность. Я вжал ладонь в стол. — Не передёргивай. Живой и без повреждений. Он заверил: его люди умеют обращаться с пленными. Перед глазами возник мертвец у допросного стола.

— Сегодня я видел, как именно.

— Поэтому ты убил человека?

— Поэтому следующий, кто нарушит приказ, умрёт медленнее.

Лис прищурился и напомнил, что приказ я ещё не отдал. Я закрыл папку. В груди билось что-то тяжёлое, бешеное, не согласное ни с бумагами, ни с памятью, ни с моей собственной ненавистью. Если Дарина предала, я заставлю её смотреть мне в глаза, когда буду произносить приговор. Если нет — тот, кто подделал её вину, пожалеет, что не умер до моего возвращения. Я велел готовить публичный процесс. Лис улыбнулся.

— Я знал, что ты выберешь правильно.

Я остановил его: ещё не закончил. Он замолчал.

— Дарину берут мои люди. Доставляют непосредственно ко мне. Допрос провожу я. Никто не касается её, не разговаривает с ней и не входит в помещение без моего разрешения.

Лис назвал её обвиняемой, не моей собственностью. Я ответил: именно поэтому распоряжение должно его устраивать. Он прищурился. — Ты защищаешь её.

— Я сохраняю главную свидетельницу.

— Свидетельницу собственного предательства?

Он включил запись. На экране Дарина сидела напротив Андрея в полутёмной комнате и говорила о моём устранении. Звук пропадал, между фразами были помехи. Андрей накрыл её руку своей, и я почувствовал обычную ревность мужчины, которому недавно показали новую версию всего брака. Образ и желание оторвать ему пальцы говорили лишь о ревности, которую Захарский научился поворачивать против меня. Я спросил, когда сделана запись. Лис ответил: за два дня до взрыва. На вопрос о полной версии Лис пожал плечами: исходник повреждён.

— Удобно. — Я провёл ногтем по стыку кадров, где звук становился слишком чистым.

По его словам, фрагмента хватало.

— Для суда, который ты уже назначил, достаточно и фотографии виселицы.

Лис остановил кадр на лице Дарины. Я смотрел на её глаза. Человек может сдерживать слова, жесты, даже слёзы, но не взгляд в секунду, когда произносит имя того, кого ненавидит. В её взгляде не было ненависти. Там была боль такой глубины, что мне захотелось отвернуться.

Лис заметил, что я ищу Дарине оправдание. Я не убрал палец с изображения её замершего лица, не давая закрыть запись. — Я ищу начало разговора.

Он возразил: начало не изменит фразу об устранении. — Зато может изменить, кого она собиралась устранить: меня, угрозу мне или человека, которого вы сделали из меня. Слова вырвались сами. В комнате стало холодно. Лис медленно закрыл ноутбук.

— Осторожнее, Максим. Сомнение — первый симптом возвращения зависимости.

— А слепая вера — последний симптом идиотизма.

Лис развёл руками. — Поэтому нужен публичный суд. Там предъявят документы, свидетелей, записи. Там Дарина сможет объясниться.

— Перед толпой, которой ты заранее раздашь нужные ответы.

— Перед законом.

— Закон, который держишь за горло ты, называется заложником.

Лис улыбнулся и откинулся в кресле, будто моё сопротивление тоже было заранее занесено в его папку. Не отводя взгляда, я молча закрыл документы и подвинул их к нему. Пусть считает, что я принял его правила. Мне нужен был человек, который слишком уверен, что уже меня победил.

Я подошёл вплотную. Лис был ниже, тоньше, физически слабее, но смотрел спокойно. Он привык считать, что знание делает его неуязвимым. Люди часто путают осведомлённость с бессмертием.

— Запомни формулировку, — произнёс я. — Если хоть один человек прикоснётся к Дарине без моего приказа, отвечать будешь ты.

— Даже если она окажет сопротивление?

Я упёрся ладонями в стол. — Особенно тогда.

— Даже если попытается сбежать?

— Пусть попробует.

Мне вдруг почудился женский смех — низкий, тёплый, беззастенчивый. «Ты никогда не умел просить, Максим. Только запирать двери и надеяться, что я сама догадаюсь остаться». Я не знал, было ли это воспоминание или ещё одна заноза, вбитая Вороновыми в мой мозг. Но голос оказался таким живым, что на секунду пересохло в горле. Лис наблюдал слишком внимательно.

— Что-то вспомнил?

— Да. Почему не люблю повторять приказы.

Я вызвал начальника группы захвата. Мужчина вошёл и застыл по стойке смирно.

— Дарину Воронову взять сегодня. Она на шестом месяце, поэтому её не бросать, не бить в живот и грудь, не связывать за спиной и не давить на шею. Обыск проводит женщина. Медик с кислородом и акушерским комплектом едет в головной машине. Оружие применять только против вооружённого сопровождения. Таю и пятилетнего Марка доставить живыми и содержать вместе.

— Если окажется вооружена — обезоружить.

Начальник группы не отступил. — Если окажет сопротивление?

— Терпеть.

— Командир, это может стоить людям жизни.

— Тогда возьми тех, чьи жизни стоят дешевле неповиновения.

Мужчина сглотнул и ответил: «Так точно». Я добавил: тот, кто оставит на Дарине хотя бы синяк, получит такой же — на каждом квадратном сантиметре тела. Начальник вышел. Лис тихо захлопал. — Впечатляет. Осталось назвать это заботой.

— Назови как хочешь. Только не перепутай с разрешением.

Я остался один. На столе лежали два приговора: отрицательный анализ Якова и фотографии Дарины. Бумаги убеждали, что они чужие. Привычные образы и реакции ничего не подтверждали. Зато лабораторное заключение называло Дарину биологической матерью, а решение об усыновлении — приёмной; это означало: кто-то рассчитывал, что я не стану читать дальше строки, которая режет сильнее.

Я взял снимок Дарины. Её холодные светло-голубые глаза смотрели мимо камеры, лицо было спокойным и опасно прекрасным. Мне хотелось заставить её посмотреть на меня и тут же спросить себя, не было ли даже это желание подложено мне чужими словами.

— Ты предала меня? — спросил я у фотографии.

Ответа не было. Но когда через несколько минут по радиации сообщили, что группа обнаружила Дарину и начинает захват, я встал так резко, что кресло опрокинулось. Разум требовал суда. Я пошёл увидеть своими глазами, как выполнят мой приказ. Это была единственная причина, которую я согласился назвать. Но машина шла быстрее разрешённого, а каждая минута уже казалась расстоянием между живым свидетелем и трупом.

Глава 3

Они пришли на рассвете, когда темнота уже начала сереть, но утро ещё не решилось назвать себя утром, словно даже день боялся смотреть на то, что осталось от нашего убежища после ночного обстрела. В подвале пахло кровью, мокрой одеждой и йодом; раненые стонали сквозь зубы, дети спали прямо на полу, сбившись вокруг женщин в один дрожащий живой комок, а я стояла у узкого окна и смотрела, как по разбитой дороге бесшумно ползут чёрные машины. Они двигались медленно, уверенно, без фар — так приезжают не воевать, а забирать то, что уже считают своим.

На шестом месяце тело не прощало мне бессонных ночей. От анемии звенело в ушах, давление скакало, а девочка под сердцем то затихала на несколько мучительных часов, то начинала толкаться от каждого взрыва. Врач запретила мне бегать, падать и таскать тяжести. В нашей жизни это звучало не как назначение, а как плохая шутка.

Накануне я сама застегнула на Тае куртку. Под тканью давно остался лишь бледный рубец; после долгих переходов он иногда тянул, но тринадцатилетняя дочь двигалась быстро и сердито отмахивалась от любой помощи. Марк спал рядом, вцепившись в её рукав пятилетними пальцами. Я не будила его, только убрала со лба тёмную прядь. Он был так похож на отца, что иногда я не могла смотреть без боли.

От Якова и Глеба не было вестей с полуночи. Они должны были передать ложные координаты и вернуться через коллектор. Теперь тишина заполняла все варианты сразу: разбитый телефон, заваленный выход, плен. Я не позволила себе дописать последний вариант.

Когда в окне появились машины, дочь внутри замерла. Я отошла от стекла, выпила несколько глотков воды и приняла назначенную таблетку железа. Она не могла вернуть силы за минуту; это было всего лишь упрямое соблюдение режима в жизни, где любой порядок давно рассыпался. Если мне придётся выйти к ним, я выйду на ногах, а не в виде тела, которое придётся выносить. Это была не храбрость. Просто у моих детей осталось слишком мало взрослых, и я не имела права умереть эффектно.

— Сколько? — спросил Андрей за моей спиной.

— Пять машин. Может, шесть. Последняя осталась за поворотом.

Он выругался, коротко и бесцветно, нажал на защёлку магазина, хотя мы оба знали: патронов не хватит даже для красивой смерти. В соседнем отсеке без наркоза вытаскивали осколок, а снаружи люди моего мужа замыкали кольцо. Ещё два месяца назад я верила, что Максим ведёт свою войну ради нас. После облав, голода и его молчания я уже не знала, осталось ли в нём хоть что-то от мужчины, которому я доверила жизнь наших детей.

— Уводим детей через тоннель, — сказал Андрей. — Стефан встретит у северного выхода. Тая поведёт Марка, врач пойдёт сразу за ними. Если малыш устанет, его понесут. — Он не добавил, что дочь снова откажется от помощи. Это мы оба знали без инструкций.

— Тоннель простреливается.

— Тогда прикроем.

— Чем? Нашей семейной гордостью? Она, конечно, огромная, но пули пока не останавливает.

Он схватил меня за плечи и развернул. Лицо брата было серым от бессонницы, на скуле темнела засохшая кровь, в глазах горело то знакомое бешенство, которым мужчины нашей семьи заменяли страх.

— Даже не думай, Дарина.

— Я ещё ничего не сказала.

— Ты уже попрощалась с комнатой взглядом.

Я усмехнулась, хотя губы не слушались.

— Ненавижу, когда ты становишься наблюдательным в самый неподходящий момент.

— А я ненавижу, когда ты называешь самоубийство стратегией.

За стеной ударил усиленный динамиком голос:

— Дарина Воронова! Выходите одна, без оружия. В случае сопротивления здание будет зачищено.

В подвале проснулись дети. Сначала один плач, потом второй — и через несколько секунд помещение наполнилось всхлипами, шёпотом, молитвами. Маленькая девочка в чужой мужской куртке подняла на меня огромные глаза и спросила у матери, пришли ли плохие. Женщина прижала её к себе и солгала, что всё будет хорошо. От этой беспомощной лжи меня вывернуло до ледяных мурашек вдоль позвоночника. Я слишком хорошо знала цену взрослого обещания, данного ребёнку в минуту ужаса: оно потом всю жизнь гниёт внутри, если взрослый не сумел его выполнить.

Я сняла пистолет с пояса и положила на стол. Пояс давил на низ живота, и малышка стала двигаться чаще. Я положила обе ладони на округлившуюся кожу, дождалась ответного толчка и только тогда повернулась к двери.

— Нет, — повторил Андрей.

— Здесь двадцать семь раненых. Девять детей. Два врача. Если начнётся штурм, они погибнут первыми.

— А если ты выйдешь, погибнешь ты.

— Зато не первой. Уже неплохое повышение в должности.

Он ударил ладонью по столу так, что подпрыгнули пузырьки с лекарствами.

— Хватит прятаться за сарказмом! Ты хочешь к нему. Даже сейчас. Даже после того, как он назвал тебя предательницей и назначил публичную казнь, ты всё равно ищешь повод оказаться рядом!

Слова впились под рёбра, вывернули наружу то, что я пыталась удержать внутри. Да, хотела. Хотела увидеть его так мучительно, что пересыхало в горле и мышцы сводило от невозможности прикоснуться. Хотела убедиться, что за холодным лицом ещё живёт мой Максим, а если не живёт — похоронить его собственными руками. Но снаружи стояли не мои желания. Там стояли вооружённые люди, а за моей спиной плакали дети.

— Я ищу повод оставить вас живыми, — сказала я тихо. — Если ради этого придётся снова встать перед ним на колени, я встану.

— Он не заслуживает твоих коленей.

— Это не награда ему, Андрей. Это цена за них.

Я кивнула на подвал. Брат посмотрел туда, и лицо его дрогнуло. На полу лежал мальчик с перевязанным животом, рядом мать держала пакет с кровью выше его головы и шептала сказку,

путая слова. Врач, не поднимая глаз, продолжал работать. В эту минуту мы оба поняли: выбора не было. Иногда выбор — просто красивое слово, которым люди прикрывают момент, когда приходится решить, какую часть себя отрезать первой.

— Потребуй Максима, — произнёс Андрей. — Не говори больше ни с кем.

— Именно это я и собираюсь сделать.

— И если они тронут тебя...

Я сжала пальцы на вороте куртки. — Ты ничего не сделаешь. Выведешь людей через тоннель, когда весь их отряд соберётся у фасада.

— Я не оставлю тебя.

— Оставишь. Потому что, если ты погубишь детей ради сестры, я выживу назло и буду напоминать тебе об этом каждое утро.

Он смотрел на меня долго, ненавидя за правоту, за прошлое, за Максима, за эту вечную привычку превращать собственное тело в щит. Потом прижал лоб к моему и зажмурился.

— Ты не железная.

— Знаю.

— Тогда почему каждый раз позволяешь им прощупывать, когда сломаешься?

— Потому что однажды они устанут раньше меня.

Я обняла его крепко, почти болезненно, вдохнула запах пороха и родной кожи, а затем отстранилась, прежде чем слёзы успели сделать меня слабее. Взяла белый медицинский бинт, обмотала вокруг запястья и вышла из подвала с поднятыми руками.

Холод ударил в лицо. Во дворе лежал тонкий снег, истоптанный тяжёлыми ботинками; на крышах соседних домов чернели стрелки, лазерные точки скользнули по груди и остановились на сердце. Я шла медленно, чувствуя каждый взгляд, каждый ствол, каждую трещину в земле. Впереди стояли люди в чёрной форме без знаков различия. Максима среди них не было.

— Оружие? — спросил командир группы.

— Осталось внутри вместе с моим желанием сотрудничать.

— Руки за голову.

— Я вышла добровольно. Не путайте пленницу с подарком.

Он подошёл ближе, высокий, бритый наголо, с маленькими бесцветными глазами. На бронежилете мигал красный огонёк. Значит, Лис смотрел. Возможно, Максим тоже. От этой мысли сердце ударилось о рёбра так, что стало больно дышать.

— Где Вороновы? — спросил он.

— Перед вами одна.

— Где остальные?

— Если вы не умеете считать, публичный суд получится особенно убедительным.

Его рот дёрнулся. Он схватил меня за запястье и резко заломил руку. Боль прошла плечо, но я не издала ни звука.

— Мне нужен Максим, — сказала я.

— Командир не разговаривает с террористами.

Я подняла подбородок. — Передайте командиру, что его жена вышла к нему без оружия.

— Бывшая жена.

— Попробуйте объяснить это ему, когда он вспомнит.

Он передал сканер женщине из группы. Та надела перчатки, провела прибором вдоль рук, спины и ног, не приближая его к животу, и спросила, чувствую ли я движения ребёнка. Я ответила, что да, крови нет, но низ живота тянет от бессонной ночи. Медик посмотрела на старшего группы так, будто заранее запоминала лицо человека, которого придётся останавливать.

— Внутри дети и раненые, — сказала я. — Я остаюсь у вас. Вы даёте им коридор.

— Условия ставит тот, у кого власть.

— Ошибаетесь. Условия ставит тот, кто знает, насколько сильно вы боитесь оставить меня мёртвой до суда.

Его взгляд метнулся к красному огоньку на броне. Попала. Максим приказал доставить меня живой, и этот приказ держал их за горло лучше любого оружия.

— Коридор будет, — процедил командир. — Если назовёшь северное убежище.

— Не знаю такого.

— Назовёшь.

Меня посадили на колени прямо в снег, но медик успела подложить под них свёрнутую куртку. Мягкие ремни застегнули на запястьях спереди. Старший ударил меня тыльной стороной ладони по лицу. Губа лопнула о зубы, но ладони остались перед дочерью, а ноги — подо мной.

Из разбитого окна донёсся детский плач. Совсем близко, тонко, надломленно. Один из стрелков вскинул автомат. Я не могла позволить себе бросок: большой живот делал равновесие слишком хрупким. Поэтому выпрямилась на коленях и подняла связанные руки между стволом и окном. На секунду стрелок потерял линию огня и замер.

— Там ребёнок! — крикнула я. — Опустите оружие!

Охранник схватил меня за плечи и дёрнул от стрелка. Я покачнулась, но медик подставила плечо и не дала мне упасть. Никто не прикоснулся к животу, однако от резкого движения внутри потянуло болью. Я закрыла живот связанными руками и продолжала смотреть на автомат, пока мужчина не опустил ствол.

— Здесь нет боевиков, — выговорила я в снег. — Только раненные. Хотите показать, какие вы герои, — начните с пятилетних.

Ладонь на плече сжалась сильнее.

— У тебя отвратительная привычка говорить лишнее.

— А у вас удобная привычка называть приказом всё, за что нормальному человеку было бы стыдно.

Командир знаком велел поднять меня. Меня дёрнули за связанные руки так резко, что плечевые суставы обожгло. Перед глазами плавали чёрные пятна, кровь стекала с губы на подбородок, но я успела увидеть: возле дальней стены мелькнула тень Андрея. Он не ушёл. Стоял там, где его могли убить одним выстрелом, и ждал, пока я куплю остальным ещё несколько минут. Я едва заметно качнула головой. Он ответил взглядом, полным такой боли, будто это на колени поставили меня, а позвоночник медленно ломали ему.

— Пусть выходят, — сказала я командиру. — Раненные и дети. Вы получите меня и пустое здание.

— Я получу тебя, здание и имена.

— Удивительно. Столько вооружённых мужчин понадобилось, чтобы торговаться с одной безоружной женщиной.

— Слабовато, — прошептала я. — У вас собеседования по жалости проводят?

Он снова ударил меня по лицу. Из разбитой губы снова пошла кровь. Я не убрала рук с живота.

— Где семья?

— У вас удивительно бедный словарный запас.

Командир присел передо мной.

— Твой Максим мёртв. Осталось тело, которое подписало тебе приговор. Кого ты защищаешь?

— Людей от таких, как ты.

— Он сам приказал судить тебя.

— Тогда пусть сам и спрашивает.

Командир подошёл и схватил меня за подбородок, разворачивая лицо к объективу на своей броне. Большой палец вдавил разбитую губу в зубы. Я сидела на свёрнутой куртке, держа связанные руки перед животом, и не дала ему увидеть ни одной попытки отстраниться.

— Где остальные Вороны?

— Спросите у того, кто писал вам второй приказ.

Его пальцы сжались на челюсти. Медик шагнула к нам, но один из бойцов заступил ей дорогу. Тогда она подняла переносной тонометр и развернула к командиру дисплей. Манжету она успела застегнуть на моём плече до его подхода.

— У неё поднялось давление и тянет живот, — предупредила медик. — Если вам нужна живая беременная женщина, прекратите играть на публику.

— Обычный приказ я знаю, — ответил он. — Но есть второй. Её муж должен увидеть, как она боится.

Лис. Он не назвал имени, но я знала, кому понадобилось не просто взять меня, а сделать захват публичным приговором Максиму. Я смотрела прямо в объектив, а командир перенёс хватку на моё плечо и тряхнул так, что зубы щёлкнули.

— Боишься? — спросил он, поворачиваясь к красному огоньку. — Скажи ему, как сильно.

Я хотела ответить, что пятнадцать лет с Максимом были страшнее любой чёрной формы. Но детский плач за спиной, переливчатая рябь перед глазами, чужие пальцы на лице и мысль о детях в плену сомкнулись в один глухой удар. Я открыла рот и не услышала собственного голоса. Воздух проходил свободно, губы двигались, но слова оставались внутри.

Я попробовала ещё раз и выдавила только тихий выдох. Командир нахмурился, снова потряс за плечо, и медик громко повторила цифры давления. Он замахнулся для новой пощёчины, но визг тормозов заставил всех обернуться. Чёрный внедорожник остановился поперёк двора, дверь распахнулась ещё до полной остановки. Максим вышел быстро — высокий, широкоплечий, с короткими тёмными волосами и ледяными синими глазами. На резком повороте его ладонь на миг легла на давно заживший рубец от ножа Вольского, затем вернулась к оружию.

— Убрал руки. Сейчас.

Командир обернулся. Максим ударил его кулаком под ухо. Мужчина рухнул на одно колено, а Максим сразу отступил, не полез в драку и навёл пистолет ему в лицо.

— Кто дал второй приказ?

Мужчина сплюнул кровь на снег.

— Спросите своего друга.

Максим поднял пистолет выше. Я покачала головой. Не ради мучителя — ради раненых, которых ещё вывозили из тоннеля. Выстрел мог превратить их коридор в новый штурм. Он понял мою просьбу, опустил ствол и приказал взять командира под арест.

Люди подчинились не сразу. В этой короткой задержке я увидела всё, что Лис успел сделать с армией мужа: вместо Максима бойцы смотрели друг на друга, угадывая, чей приказ переживёт следующий час. Максим не разоружился. Он лишь медленно перевёл ствол с арестованного на старшего охраны. Тот первым убрал руку от кобуры и кивнул остальным.

— Это последняя секунда, которую я потратил на уговоры. Заковать его. Устройство с брони снять, запись скопировать при двух свидетелях. Исходник опечатать.

Двое наконец схватили командира за руки. Тот ещё пытался говорить о допустимом давлении, но Максим уже отвернулся. Вся ярость ушла из его лица, когда он увидел: я дышу ровно, однако не могу произнести ни звука. Он присел передо мной, оставив между нами расстояние.

— Скажи что-нибудь.

Я сложила губами его имя. Получился только беззвучный выдох. В синих глазах на секунду открылся такой ужас, что я почти узнала прежнего мужа. Потом он закрыл его привычным приказом:

— Медик. Сначала она и ребёнок. Остальное потом.

Медик опустила рядом, взяла меня за запястье и задала три коротких вопроса: кровь, резкая боль, движение дочери. Я ответила жестами. Максим следил не за прибором — за моими пальцами, словно каждый ответ решал, позволит ли он мне уехать живой.

— Голос вернётся? — спросил он.

— Она дышит сама, — ответила медик. — Голос пропал после потрясения. Сейчас нужны покой, наблюдение за давлением и ребёнком. Перевозить лёжа на левом боку.

Я потянулась к полам его пальто и сжала ткань. Не просила спасти меня и не благодарила. Просто не позволила снова уйти к экрану, пока врач готовила носилки. Максим посмотрел на мою руку, затем на живот, где под курткой прошёл отчётливый толчок. Освободиться он мог одним движением, но остался рядом.

Медик потребовала носилки. Меня не стали поднимать на руки: помогли лечь на левый бок, укрыли и зафиксировали ремнями выше и ниже живота. Максим положил ладонь между моей головой и жёстким краем. Он много раз помогал грузить раненых и машинально выполнял знакомую процедуру. Но кричать было нечем.

— Не воображай, что я тебя спасаю, — произнёс он, не глядя на меня. Каждое слово было холоднее снега. — Ты нужна для суда.

Я подняла руку и коснулась его щеки. Максим вздрогнул так едва заметно, что никто другой не увидел бы. Я увидела. Всегда видела. Он перехватил моё запястье и отвёл ладонь.

— Не путай право собственности с жалостью.

Если бы голос остался, я бы рассмеялась ему в лицо. Спросила бы, с каких пор право собственности заставляет мужчину идти рядом с носилками и следить за каждым вдохом. Но вместо слов из горла вышел только беззвучный выдох.

Когда носилки подняли, по рации доложили: последний раненый вышел из тоннеля. В следующей фразе говорилось, что северная группа перехвачена, двое несовершеннолетних задержаны без повреждений, а Радич ушёл в старый коллектор и не вышел на связь. Двое несовершеннолетних. Тая и Марк. Я вцепилась в ремень на носилках, а Максим положил ладонь мне на плечо, не приближаясь к животу. Раненые успели. Мои дети — нет. Одно спасение и одна катастрофа уместились в трёх коротких строках рации.

— Дети живы, — сказал Максим и повторил их имена, будто знал: слова «двое несовершеннолетних» мне не хватит. — Тая и Марк. Их не разделят. Раненых из убежища выпустили. — После этого он уже обратился к медику: — Займитесь ею. Мне доложите до отъезда.

Он не назвал меня женой. Просто шёл рядом с носилками и на каждой кочке подставлял ладонь между моим затылком и жёстким краем. Смотрел на живот, потом на моё лицо, снова на живот. Мёртвый так не смотрел. И чужой — тоже.

Я коснулась двумя пальцами его запястья, потом своей груди. Этим жестом мы когда-то просили друг друга замедлить дыхание, пока Тая лежала в больнице. Максим понял и сразу сказал медику не заставлять меня говорить до осмотра. Только тогда он побледнел.

Двери машины закрылись. Мой голос исчезал, дети были в плену, Яша и Глеб пропали на операции, Стефан не вышел из коллектора. Но за спиной скрипели колёса носилок: двадцать семь раненых получили купленный мной коридор. Эта правда была единственным, что я могла взять с собой.

Глава 4

Я проснулась от ровного частого стука. Не дверь и не шаги охраны — сердце моей дочери билось из маленького динамика у живота. Этот звук удержал меня в настоящем раньше, чем

вернулись двор, снег под коленями и лицо мужчины, которого у меня уже дважды отнимали живым.

Врач водила датчиком по гелю, а я слушала то, что не могли подделать ни Лис, ни Громов: сердце дочери не сбивалось, когда я поворачивалась. Боли в животе не было. Когда малышка толкнула датчик, я впервые после двора выдохнула до конца.

Голос не вернулся. Я могла дышать, глотать, беззвучно шевелить губами. Но стоило попытаться вытолкнуть хоть слог, как перед глазами вставали чужие пальцы на подбородке и снег под коленями. Вместо звука из горла выходил воздух.

— Не заставляйте себя говорить, — сказала врач. — Пишите и дышите как дышитесь. Я буду рядом.

Я написала на планшете одно слово: «Дети». Врач протянула короткую сводку. Тая и Марк были вместе. Яков — в медицинском блоке. Глеб жив и получает помощь. Я провела пальцем по каждому имени. Жив. Жива. Живы. Только после этого мои плечи опустились.

Четыре короткие строки вернули мне способность сидеть. Я попросила показать всех, но врач покачала головой: доступ к трансляциям выдавал командир. Тогда я написала имена на отдельном листе — Яков, Тая, Марк, Глеб — и ниже добавила: «дочь». Никому не позволю снова превратить их в номера палат и строки в чужом приказе.

Врач поставила раствор с железом, оставила воду и кнопку вызова. Перед уходом она убедилась, что я сама могу дойти до ванной, и приказала не запира́ть дверь. В зеркале меня встретило бледное лицо, разбитая губа и спутанные тёмные волосы. Большой живот почти касался края раковины. Я умылась, медленно, потому что пальцы дрожали, и вернулась к кровати прежде, чем слабость успела победить упрямство.

На тумбе под прозрачным колпаком мигал красный огонёк. Я повернула к нему блокнот: «Меня зовут Дарина Воронова. Мои дети живы. Я тоже жива». Им могли принадлежать дверь, невидимый наблюдатель и расписание лекарств. Имя оставалось моим.

Дверь открылась без стука. Максим вошёл один, с чёрной папкой под мышкой. Закрыв дверь, повернул ключ и остановился у медицинской карты, не приближаясь ко мне. Палец задержался на сроке беременности, потом на цифрах сердцебиения. Когда он наклонился к монитору, давно заживший рубец заставил его чуть медленнее повернуться.

Малышка толкнулась. Ткань рубашки дрогнула у меня под ладонью, и Максим увидел движение. На миг его лицо стало совершенно пустым, будто все заготовленные обвинения разом потеряли слова. Потом он положил папку на стол и нажал кнопку связи.

— Она выдержит разговор? — спросил Максим, не глядя на меня.

— Недолго и только письменно, — ответила врач. — Если ей закружится голова, заболит живот или ребёнок надолго затихнет, на этом всё.

Максим хотел сказать, что понял, но врач перебила его ещё до первого слова: ограничения были не советом. Он взглянул на часы, поставил на стол таймер и оставил кнопку вызова в пределах моей руки. Каждое движение выглядело служебным, однако прежний Максим тоже всегда прятал заботу в порядок действий. Я написала: «Покажи детей». Он не ответил. Я подчеркнула слово дважды и подвинула блокнот к краю стола.

— Это допрос, а не свидание.

«Тогда задавай вопросы стене».

Его челюсть напряглась. Мы смотрели друг на друга через чёрную папку, пока Максим не выругался едва слышно и не достал телефон. Ничего не объяснив, он открыл связь с детской комнатой.

Тая сидела на кровати прямо, а Марк строил из кусочков хлеба длинную машину. Заметив нашу связь, дочь сразу заслонила брата плечом. На столе стояли вода, еда и детские лекарства; окон в комнате не было. Я прижала ладонь ко рту и подняла второй лист с их именами.

Тая прочитала по губам моё «люблю». Ответила двумя поднятыми пальцами — они вместе, — затем положила ладонь Марку на голову. Он улыбнулся мне, не понимая, почему я плачу. Потом поднял сложенную из хлебных корок машину и повёз её по столу, упрямо изображая мотор. Тая что-то тихо сказала ему, не поворачивая головы, и он послушно сел ближе. Я знала это движение: она уже решила, что отвечает за брата, пока взрослые ломают мир вокруг них. Хотелось приказать ей перестать быть старшей хотя бы на час, вернуть себе тринадцать лет, но голоса не было. Я показала сначала на неё, потом на Марку и прижала кулак к сердцу. Тая поняла. Подбородок дрогнул, но она не заплакала. Только подтянула к брату стакан воды и показала мне обе его ладони, затем свои: крови нет, пальцы целы. Марк наклонился к экрану, весь в крошках, и уже открыл рот. Максим оборвал связь раньше, чем мальчик успел спросить, когда я вернусь.

— Яков и Глеб в медицинском блоке. Оба живы, — произнёс он. — Остальное после разговора.

Я записала это рядом с именами, чтобы не позволить страху переписать его слова позже. Максим наблюдал, как я вывожу каждую букву, и только потом оглядел комнату: мягкая кровать, вода, отдельная ванная, запертая дверь без внутренней ручки и красный огонёк под потолком.

— Общая палата не подходит для отдельного допроса. Здесь тебя никто не побеспокоит. «Кроме тебя».

Он понял без голоса и сухо усмехнулся.

— Меня ты должна бояться сильнее остальных.

Я покачала головой. Это разозлило его сильнее оскорбления. Он придвинул стул, сел напротив и велел попытаться сказать хоть слово. Я открыла рот; воздух прошёл свободно, но имя осталось беззвучным. Ни боли, ни хрипа — только предательская тишина. На повторное требование я показала ему средний палец.

— Вот это уже больше похоже на тебя.

Максим поднялся, но остановился на расстоянии вытянутой руки. Между нами были капельница, заметный живот и годы, в течение которых я разговаривала с закрытым гробом. Его взгляд задержался на разбитой губе, затем на моём лице. Я знала этот способ смотреть: сначала оценить повреждения, затем найти виновного. Только теперь виновной он считал меня.

Он потянулся, остановил руку в нескольких сантиметрах от подбородка и спросил разрешения одним коротким движением бровей. Я кивнула. Два пальца едва коснулись кожи у скулы; ни давления, ни попытки удержать. Всё равно меня пробрала дрожь — от знакомого запаха, от тепла ладони, от ярости на собственную память.

— Боишься? — спросил он.

Я кивнула и указала на его грудь. Под чёрной тканью сердце билось чаще, чем должно было у спокойного следователя. Максим понял, отступил и сцепил руки за спиной, будто только так мог удержать их при себе.

— Шестой месяц, — сказал он, глядя на живот. — Мне сказали, ребёнок не мой.

Я написала: «Наша дочь». Малышка снова толкнулась, подтверждая лишь собственное существование. Максим закрыл глаза на одно короткое мгновение, потом отодвинул стул, положил между нами чёрную папку и вернулся к человеку, которым его сделали. Желание не исчезло — оно просто осталось по другую сторону границы, которую сейчас нельзя было переступить ни одному из нас.

Максим выпрямился. Таймер уже отсчитывал разрешённое врачом время. Между нами осталось всё, что нельзя было пересечь одним знакомым прикосновением: запертая дверь, чужие приказы, годы у пустой могилы и дочь, которую он пока соглашался видеть лишь строкой в карте.

Я положила ладонь на живот, дождалась, пока дрожь утихнет, и взяла ручку. Если Максим хотел разговора с обвиняемой, он его получит. Но отвечать ему будет женщина, которая помнила каждую цену его отсутствия. Горечь поднялась к горлу. Даже на расстоянии вытянутой руки он заставлял меня чувствовать близость, которую тут же объявлял ошибкой. Я отвернулась, но он успел заметить влагу в глазах.

— Жалость к себе плохо сочетается с ролью мученицы.

Я схватила стакан со стола и швырнула в стену. Стекло разлетелось возле его плеча.

— Темперамент на месте, — сухо заметил он. — Жаль, совесть отсутствует.

Максим раскрыл папку. На стол легли фотографии: я возле разрушенного штаба, рядом Андрей; я сажусь в машину Стефана Радича; я в коридоре незадолго до взрыва. Следом — распечатки переводов, копии сообщений, протокол с моей якобы подписью.

— Ты передала Вороновым маршрут операции. Через час погибли мои люди.

Я потянулась к бумагам. На одном снимке дата была неверной. На другом тень падала в сторону, невозможную для указанного времени. Я ткнула в несостыковку.

— Монтаж? — спросил Максим. — Предсказуемо.

Я показала на стол, требуя ручку. Он дал её вместе с чистым листом. Пальцы дрожали. Я написала: «Я приехала предупредить тебя. Сообщение отправлено с моего телефона после того, как Андрей забрал его. Посмотри полную запись». Максим прочитал, и лицо его осталось неподвижным.

— Андрей забрал телефон, но ты продолжила ему доверять.

Я дописала: «Он мой брат. Он пытался вывезти меня из здания».

— А Стефан Радич? Он тоже просто пытался помочь?

Ревность прозвучала почти незаметно, спрятанная под вопросом, но я знала Максима слишком хорошо. Увидела, как сильнее сжались его пальцы, как взгляд задержался на фотографии, где рука Стефана лежала у меня на спине. Я написала: «Он спас мне жизнь».

— Какая трогательная преданность.

«Ты предпочёл бы, чтобы я погибла?»

Он прочёл, поднял глаза.

— Иногда мёртвые доставляют меньше проблем.

Я перечеркнула вопрос и вывела крупно: «ЛЖЁШЬ». Бумага хрустнула в его руке.

— Ты ничего обо мне не знаешь.

Я написала: «Знаю, как ты держал меня сегодня. Знаю, что едва не убил своего человека. Знаю, как бьётся твоё сердце». Он вырвал лист, смял и бросил на пол.

— Одной реакции тела недостаточно, чтобы поверить в невиновность.

Я взяла новый. «Как недостаточно поддельных записей, чтобы признать меня виновной». Максим включил планшет. На экране появилась комната наблюдения, дата перед взрывом. Я стояла напротив Андрея. Звук был чистым до неестественности.

— Его нужно устранить до начала операции, — произнесла моя копия голосом.

Запись оборвалась. У меня заledenели пальцы. Настоящая фраза звучала иначе: «Его нужно устранить от руководства операцией, пока мы не вычислим утечку». Кто-то отрезал середину, сшил слова, превратил попытку спасти Максима в приказ его убить. Я протянула руку к планшету, но Максим накрыл ладонью стекло планшета.

— Не трогай.

Я показала на временной код: между двумя словами пропало семь секунд.

— Сбой записи.

Я отрицательно качнула головой и показала на звуковую дорожку под кадром. На месте семисекундного скачка менялся фоновый шум: один чистый шов объяснял и оборванную фразу, и сбитый временной код. Максим увеличил участок, и на секунду в его лице возникла

трещина — ещё не доверие, лишь раздражение человека, который обнаружил неровность в идеально выстроенной стене.

— Эти материалы заверены.

Я подняла брови: «Тогда зачем ты принёс их мне?» Он понял. Медленно убрал ладонь с планшета.

— Чтобы увидеть реакцию.

Я написала: «Увидел?»

— Ты умеешь плакать убедительно.

«Я научилась на твоих похоронах».

Максим прочитал, и его взгляд замер. Я продолжила, хотя каждое слово выворачивало внутренности: «Гроб был закрытым. Мне не дали тела. Я положила внутрь твою рубашку. Ту, в которой ты впервые обнял Якова как сына».

— Прекрати.

«Я приходила к могиле каждую неделю».

— Это не относится к делу.

«Относится. Предатели не разговаривают с могилами тех, кого предали».

Он вырвал лист и разорвал. Полосы бумаги упали между нами, но я уже взяла новый.

«Тая снова бежит быстрее всех и по-прежнему закрывает Марка собой, будто она старше его не на восемь лет, а на целую жизнь. Яков дрался с каждым, кто произносил твоё имя. Марк спрашивал, почему его отец так и не вернулся. Теперь у нас есть ещё одна дочь, которая уже знает твой голос и двигается, когда ты рядом».

— Хватит использовать детей.

Я ударила ладонью по столу и написала крупнее: «Это ты используешь их как доказательство моей измены». Максим отвернулся к окну. Его спина была прямой, плечи напряжёнными. Я видела, как глубоко он вдохнул, как медленно выдохнул. Потом он сказал, не глядя:

— В материалах указано, что часть детей может быть не от меня.

Максим положил передо мной заключение лаборатории. Я прочитала строку о том, что Максим якобы не является биологическим отцом Якова, и вторую — будто я его биологическая мать. Вырвала лист и написала так крупно, что карандаш прорвал бумагу: «Я не рожала Яшу. Я его усыновила». К заключению была подшита копия решения об усыновлении. Эти два листа не могли быть правдой одновременно: решение подтверждало усыновление, а отчёт приписывал мне роды, которых не было.

Ревность, наконец, показала зубы. Не только к Стефану — к годам, которых Максим не помнил; к детям, которых у него отняли; к каждому мужчине, способному стоять рядом со мной вместо него. Я подошла и положила перед ним лист: «Тебе солгали».

— Все?

«Все».

— Даже о Радиче?

Я написала: «Стефан не отец моих детей». Максим прочитал дважды.

— Но был рядом.

«Когда тебя не было».

— Удобно заменил погибшего мужа.

Я так резко подняла голову, что шею пронзила боль. Написала: «Тебя невозможно заменить». Он усмехнулся, но усмешка получилась мёртвой.

— Красивый ответ.

«Уродливая правда. Я пыталась жить дальше и не смогла».

— Однако жила.

«Ради детей. Не ради другого мужчины».

Максим подошёл ближе. Ревность делала его взгляд почти чёрным, и от этой ревности во мне смешались боль и безумная, постыдная радость: человеку, которому якобы всё равно, было нестерпимо представить меня чужой.

— Если выяснится, что ты лжёшь...

Я дописала: «Ты всё равно уже вынес приговор».

— Нет. Приговор вынесли бумаги, которые тебе подсунули.

«Бумаги не ревнуют к Стефану».

Его пальцы сомкнулись на листе. Он не разорвал его сразу. Сначала посмотрел на меня — долго, тяжело, так, будто хотел наказать за точность. Потом медленно разорвал надвое. Я быстро написала объяснение, указала на скачок времени в углу кадра.

— Экспертиза подтвердила подлинность.

«Чья экспертиза? Лиса?»

Максим вырвал лист и разорвал пополам. Я взяла следующий. «Ты доверяешь ему больше, чем себе». Ещё один разрыв.

«Он показывает тебе только то, что делает тебя его оружием».

Бумага разлетелась белыми кусками. Я писала быстрее, царапая лист так сильно, что он рвался под ручкой: о звонке после взрыва, людях, которые вытащили меня из здания, возвращении к огню, поисках в обломках голыми руками. Максим читал несколько строк и рвал. Каждая разорванная страница была маленькой казнью женщины, которая все эти годы говорила с его могилой и теперь не могла докричаться до живого.

Наконец я выхватила у него папку и ударила по столу. Хотела закричать, но изо рта вышел лишь беззвучный выдох. Ярость от собственной тишины оказалась сильнее слабости.

— Именно этого ты добивалась? — спросил он тихо. — Чтобы я поверил одному прикосновению и забыл всё, что мне показали?

Я замерла. Он наклонился через стол.

— Ты была рядом со Стефаном. Жила под защитой Вороновых. Растила детей, происхождение которых от меня скрывали. А теперь являешься и касаешься меня так, будто имеешь право.

Я написала: «У меня есть право. Я твоя жена».

— Жена не отдаёт мужа на убой.

«Муж не судит жену по обрезанной записи».

Он порвал и этот лист. Слезы уже не текли — они стояли в глазах, делая его лицо зыбким. Мне хотелось ударить его, обнять, прижать его ладонь к животу и заставить дожидаться движения дочери. Но моя власть над его руками кончилась в ту секунду, когда на двери повернулся ключ.

— Суд состоится, — сказал Максим. — Там будут представлены документы, свидетели и записи. Если у тебя есть объяснение, подготовь его.

Я посмотрела на белое кладбище разорванных листов у его ног. Он проследил за взглядом.

— Убедительное объяснение.

Я медленно поднялась. Под рёбрами сжало, комната поплыла, но я заставила себя подойти. Максим не отступил. Мы стояли так близко, что я видела тонкую пульсацию жилки на его шее.

— Отдыхай. Завтра начнётся подготовка к суду.

Он пошёл к двери. Я вернулась к столу, взяла последний лист и написала пять слов. Не объяснение. Не оправдание. Единственную правду, которую невозможно было смонтировать без того, чтобы она перестала быть моей. Подошла к Максиму и протянула лист. Он хотел пройти мимо, но всё же прочитал.

«Я никогда тебя не предавала».

Под фразой дрогнула чернильная точка. Я держала ручку слишком долго, словно могла дописать туда всю нашу жизнь: первую встречу, его невозможную нежность, рождение детей, ссоры, постель, кровь, долгое ожидание у могилы без тела. Но любое объяснение он снова назвал бы манипуляцией. Поэтому остались пять слов — голых, незащищенных, страшнее признания в любви.

Максим перевёл взгляд с листа на моё лицо. В его глазах мелькнуло что-то настолько болезненное, что я почти услышала треск внутренней брони. Он поднял руку, будто хотел коснуться меня, но остановил пальцы в воздухе и оставил решение мне.

Я сама сделала последний шаг и осторожно прижалась щекой к его раскрытой ладони. Не удерживала, не тянула ближе — только доверила ему ту уязвимость, которую несколько часов назад он не сумел защитить. Пальцы Максима дрогнули и едва заметно повторили линию моей скулы, прежде чем разжаться. Лицо его осталось холодным. Только рука на дверной ручке побелела от напряжения.

— Все предатели говорят одинаково.

Я покачала головой и указала на его сердце. Максим открыл дверь, вышел и запер её снаружи. Я осталась в мёртвой тишине, среди клочков собственной правды. Но последний лист он не разорвал. Он унёс его с собой.

Глава 5

Когда дверь открылась, я уже знал: за мной пришли не убивать. Для смерти не приносят чистую рубашку. Охранник бросил её на койку, даже не взглянув в мою сторону. Белая, выглаженная, ещё пахнущая упаковкой — нелепо праздничная вещь в камере, где стены впитали чужой пот, кровь и бессонницу. Я сидел на полу, прислонившись затылком к бетону, и считал удары собственного сердца, потому что после захвата это оставалось единственным, что у меня пока не отняли.

— Переодевайся, — приказал охранник.

— А цветы будут? Я рассчитывал хотя бы на букет перед казнью.

Он ударил дубинкой по решётке. — Господин Лис ждёт. Имя прозвучало хуже приговора. О Лисе говорили шёпотом даже люди, которые не боялись произносить имена мёртвых. Он не ломал кости сам — он убеждал человека, что тот родился сломанным, а потом любезно предлагал выбрать форму обломков.

Я поднялся медленно. Рёбра ответили тупой болью, запястья жгло под повязками. Перед глазами возникла мама — не в решении суда и не в лабораторном бланке. Она сидела на краю моей кровати, когда я маленьким третью ночь горел от жара, и сердито дула на ложку с лекарством. Утром я облепил её сонное лицо бумажными звёздами, а она даже не отругала. Вот как выглядело материнство. Бланки могли засунуть себе свою биологию куда подальше. — Где Дарина? — спросил я.

— Переодевайся.

— Восхищён широтой вашего словарного запаса.

Охранник поднёс дубинку, но второй удержал его за локоть и кивнул на мою повязку. После приказа Максима за новый удар можно было оказаться по нашу сторону двери. Я снял грязную рубашку, тяжело опираясь о стену, и надел чистую. Колени дрожали; сотрясение не лечилось одной остротой языка.

Меня провели через три коридора и стеклянный переход. За окнами серел двор, по которому двигались колонны людей. На дальней площадке стояла машина Максима. Я узнал её по вмятине на двери, оставленной во время захвата. Значит, отец был рядом. Слово всё ещё царапало изнутри. Отец.

Для него это слово сейчас ничего не значило. Для меня в нём помещалась вся жизнь: его рука на моём затылке после драки, молчание в машине, когда я сам не мог говорить, и последняя допросная, где он увидел во мне чужого. Он не узнал сына, но среагировал раньше,

чем память успела возразить: остановил пытку, потребовал врача и не позволил продолжать допрос.

Кабинет оказался просторным и почти пустым. За длинным столом сидел худощавый мужчина средних лет, безупречно одетый, с тонкими чертами лица и спокойными светлыми глазами. Лис выглядел не палачом, а врачом, который заранее знает диагноз и лишь позволяет пациенту потратить время на надежду.

— Яков, — произнёс он мягко. — Рад наконец познакомиться без посредников.

— А я надеялся, что вы окажетесь красивее. Злодеям положено компенсировать характер внешностью.

Он улыбнулся и указал на стул. — Садись.

— Предпочитаю стоять.

Его взгляд опустился к моему боку. — Рёбра предпочитают обратное. Я сел, спрятав слабость внутри послушания. Правым Лис от этого не становился. На столе стояли чайник, две чашки и тарелка с едой. Запах свежего хлеба ударил в желудок, и тот болезненно сжался. Лис налил чай себе, мне не предложил. Мелкое унижение, выверенное до миллиметра: сначала напомнить телу о голоде, затем показать, что даже чашку воды здесь нужно заслужить. Лис придвинул ко мне пустую чашку. — Ты похож на него.

— На охранника? Не оскорбляйте мою мать.

— На Максима.

Я не моргнул. — Вам виднее. Вы, кажется, специализируетесь на семейных альбомах. Лис повернул чашку за ручку. — Он отказался признать тебя.

— Переживу. — Я пожал плечом и тут же пожалел об этом: ушибленные рёбра отозвались горячей болью.

— Ты уже пережил одного отца, которого не было. Теперь получил второго, который смотрит на тебя и видит самозванца. Не слишком ли много отвержения для одного мальчика?

Слова вошли точно. Он изучил меня — знал, куда давить. Я позволил лицу дрогнуть, опустил взгляд и медленно сжал пальцы. Пусть думает, что попал глубже, чем на самом деле. — Зачем я здесь? — Я не сводил глаз с его рук, слишком спокойных для человека, державшего в плену мою семью.

Лис развёл руки, будто ответ был простым, и развернул ко мне планшет. — Чтобы спасти семью. — На экране был оперативный зал. Максим стоял у карты, окружённый офицерами. Ракурс был сверху, но я сразу узнал его: прямые плечи, тёмная форма, спокойная неподвижность человека, которому не нужно повышать голос, чтобы остальные замолчали.

— Убежище зачистить полностью, — произнёс Максим на записи. — Выживших не оставлять.

Один из офицеров спросил: — Дарина Воронова может находиться внутри. Максим даже не повернул головы. — Приказ не меняется.

Видео оборвалось. Меня будто ударили под грудь. На несколько секунд я действительно забыл, что передо мной Лис, что каждая эмоция учитывается, взвешивается и будет использована. Я видел только лицо человека, который несколько часов назад шёл рядом с маминими носилками, следя за её дыханием, а теперь приказывал уничтожить её вместе со всеми. — Ещё раз, — потребовал я.

Лис запустил запись. Тот же холодный голос. Те же слова. Та же дата в правом верхнем углу. Боль поднялась от живота к горлу. Мне хотелось заставить Максима смотреть на каждого, кого он якобы приказал убить. Вот тринадцатилетняя Тая. Вот пятилетний Марк. Вот мама на шестом месяце и моя нерождённая сестра под её сердцем. Вот я — семнадцатилетний сын, которому он сам когда-то дал фамилию. Давай, командир, повтори приказ каждому из нас в лицо. Но ярость была слишком удобной реакцией. Поэтому я позволил ей появиться только в глазах. — Где она?

— Дарина жива. Пока.

Я подался к планшету. — Покажите. — Охранник у двери сразу перенёс ладонь на рукоять.

— Позже, — ответил Лис и сложил пальцы на столе, будто отмерял мне ровно столько надежды, сколько считал полезным.

— Тогда разговор окончен. — Я развернулся к двери медленно, оставляя ему время испугаться потери рычага. Я поднялся. Охранник у двери шагнул вперёд, но Лис остановил его движением пальцев.

— Она находится в комнате рядом со штабом Максима. Он забрал её из общей тюрьмы. Сердце сбилось. — Для пыток удобнее?

— Для отдельного допроса, по официальной версии. По неофициальной — твой отец не позволяет никому приближаться к ней без разрешения.

Я сжал край стола. — Он только что приказал её убить.

— Максим противоречив. Это делает его опасным.

— А вас, значит, последовательность делает порядочным?

Лис отпил чай. — Меня делает полезным ясность цели. Он открыл другой файл. На экране появился коридор возле маминой комнаты. Максим вышел, запер дверь, остановился, развернул в руке сложенный лист. Несколько секунд смотрел на него, затем убрал во внутренний карман. Кадр был немым, но я узнал мамин почерк, крупные строки.

Лис открыл живое изображение палаты. Мама лежала на левом боку, ладонь повторяла движения дочери под рубашкой. Я увидел затягивающуюся корку на губе, слабость, которую она пыталась спрятать даже во сне, и то, как ровно поднимались её плечи. Этого мне хватило, чтобы понять: она жива.

Я спросил, почему мама не говорит. Лис ответил тем же ровным тоном, каким объявлял сроки: голос пока не вернулся, но она дышит сама, а врач не знает, когда это изменится.

Мир качнулся. Я схватился за край стола. В памяти возник мамин смех — тёплый, низкий, когда она по-настоящему счастлива; её голос, произносящий моё имя сердито, ласково, испуганно. Кто-то отнял его, а я сидел в чистой рубашке перед человеком, который сообщал об этом как о технической неисправности.

На вопрос, кто это сделал, Лис назвал «одного чрезмерно усердного командира» и добавил, что Максим едва его не убил. Я ответил: жаль, что едва. Лис отметил наше семейное сходство. Я наклонился через стол, чувствуя, как ушибленные рёбра режут каждый вдох. Боль помогала держать лицо: пока она была моей, Лис не мог решить, куда её направить.

— Если она умрёт, я вырву вам позвоночник через горло.

— Сначала придётся выйти отсюда.

— Значит, вам выгодно держать её живой. Иначе мне станет незачем вести себя хорошо.

Лис поставил чашку. На его лице не изменилось ничего, но взгляд стал внимательнее. — Именно о поведении я и хотел поговорить.

Он положил передо мной папку. Внутри — структура командования, фамилии офицеров, схемы доступа, медицинское заключение о состоянии Максима. На последней странице красной линией было подчёркнуто: «посттравматическая нестабильность; риск утраты контроля». — Ты сможешь устранить его, — сказал Лис. Я рассмеялся. — Конечно. А потом вы подадите мне пони и семейную психотерапию.

— Потом Дарина, дети и все задержанные Вороновы выйдут на свободу.

— Почему не сделать это без меня? — Я вернулся к столу, но садиться снова не стал.

Лис откинулся в кресле. — Потому что Максим всё ещё пользуется поддержкой части командиров. Его люди простят жестокость, но не публичный срыв. Нужен свидетель, которого он не сможет объявить агентом противника.

— Я для него самозванец. — Последнее слово застряло между зубами, выдавая больше боли, чем я хотел.

— Публично — да. Но он спас тебя, нарушил протокол и запретил допрос. Это заметили. Если ты расскажешь, что Максим назвал тебя сыном, а затем пытался скрыть приступ памяти, сомнения станут уликой.

Я смотрел на папку. Сделка была выстроена так, чтобы любое решение превратило меня в предателя. Откажусь — под угрозой мама и дети. Соглашусь — помогу Лису убрать единственного человека, способного приказом защитить её от этих палачей. Я спросил, что останется, если я соглашусь, а Лис солжёт. Он ответил, что я потеряю то же, что при отказе, но хотя бы получу шанс. Я постучал костяшкой по папке, заставляя руку двигаться ровно, и спросил, не продаёт ли он надежду оптом. Лис наконец позволил себе тонкую улыбку: только тем, кто достаточно отчаялся платить. От слова «платить» во рту стало сухо, но я не посмотрел на чашку.

Он нажал кнопку. На планшете появилась фотография: мама сидела на кровати, бледная, с разбитой губой; перед ней на полу лежали разорванные листы. Рядом стоял Максим, склонившись над столом. Даже на неподвижном снимке между ними натянулось что-то живое, болезненное, неразрывное. — Он ломает её, — сказал Лис. — А ты можешь остановить.

Я потребовал показать детей. Лис сообщил, что они в другом секторе и в сделку входят живыми. Я постучал пальцем по столу и потребовал показать другой сектор. В ответ он повторил условие: сначала моё согласие. Вода в чашке дрогнула раньше, чем я сказал, что это не ответ. Лис даже не посмотрел на воду. До моего «да» другого ответа не будет.

Я опустил на стул и откинулся на спинку, хотя мышцы живота свело от желания броситься через стол. Перед глазами возникла Тая, которая сначала закрывала Марка собой, а потом поворачивалась к охраннику с таким лицом, будто могла его расстрелять одним взглядом. Марк собирал из карандашей рельсы. Девочка под сердцем мамы толкалась на знакомый голос. Лис хотел превратить их в аргументы. Я не дал ему даже имён.

Я спросил, сказал ли он Максиму, что дети не его. Лис ответил, что показал документы. Я толкнул к нему лабораторный лист и спросил, не такой ли поддельный, как заключение о моём происхождении. Он тут же спрятался за формулировкой: речь шла только об отцовстве Максима. Бумага шуршала под моими пальцами. Лис прекрасно понял, о чём я спрашивал, и я не позволил ему увести разговор в грамматику.

Лис позволил себе едва заметную улыбку. — Отрицание — естественная реакция. Максим тоже предпочёл бы биологию, которая соответствует его желаниям.

— Его желаниям соответствует только приказ и заряженный магазин.

— И Дарина.

Вот теперь он наблюдал особенно внимательно. Я заставил себя усмехнуться. — Она не соответствует ничьим желаниям. Обычно она их отменяет и назначает свои.

— Ты называешь её матерью.

Я не отвёл глаз. — Потому что она моя мать.

— Но не родила тебя.

— Рожают телом. Матерью становятся каждый день, особенно в те дни, когда ребёнок делает всё, чтобы его невозможно было любить.

Он постучал пальцем по столу. — Красиво. А Максим — отец только потому, что дал биологический материал?

Вопрос ударил туда, где я сам боялся смотреть. До исчезновения Максим учил меня стрелять, вправлял сломанный нос, забирал из школы после драки и молча клал тяжёлую ладонь на затылок, когда я злился слишком сильно, чтобы слушать. Потом между нами легла пустота, но она не превратила прожитые годы в несколько случайных эпизодов. — Для меня ничего не изменилось, — сказал я и заставил себя выдержать светлый, неподвижный взгляд Лиса.

— Ложь, — отрезал он без улыбки, словно услышал именно ту трещину, которую искал. Я усмехнулся. — Приятно встретить специалиста. Диплом на стене или тоже смонтирован?

— Ты хотел, чтобы он признал тебя.

— Я хотел, чтобы он не стрелял.

— Поэтому назвал его папой.

Я сжал зубы. Лис знал и это. — Люди в камере говорят странные вещи.

— Особенно правдивые.

— Ты можешь подсунуть ему любую бумагу, — сказал я. — Но то, что он делал до исчезновения, со мной уже случилось. И то, как он смотрел на меня вчера, — тоже. Я не позволю тебе сделать оружием ни одно, ни другое.

Лис коснулся пальцем края папки. — Но ты защищаешь его.

— Я защищаю маму. Между этими действиями пропасть.

— Она сама эту пропасть не видит. Для Дарины Максим всегда будет важнее здравого смысла. Возможно, важнее детей.

Ладонь ударила по столу. Чашка подпрыгнула, вода выплеснулась на папку. Мамино имя во рту стало вкусом крови. — Не смейте. — Я заставил себя не вскочить и разжать пальцы. Пусть Лис видит не ребёнка, которому больно, а мальчика, готового ему поверить.

Лис спокойно промокнул бумагу салфеткой. — Вот она, настоящая боль. Не в том, что отец отказался от тебя. В том, что мать снова выберет его.

Меня выворачивало до мурашек вдоль позвоночника, потому что в его словах жила та детская заноза, которую я никогда не вытаскивал. Мама любила нас яростно, самоотверженно, но Максим был её незаживающей раной. Иногда казалось: если он однажды позовёт из могилы, она пойдёт на голос, даже понимая, что оставляет нас на берегу. Я позволил этой боли проступить на лице. Не всю — только ту часть, которую Лис хотел увидеть. — Значит, я должен убрать его, чтобы она наконец выбрала нас?

— Ты должен убрать опасного командира, который уже приказал уничтожить вашу семью.

Я медленно поднял голову. — А заодно освободить её от мужчины, которого она не способна разлюбить.

— Иногда спасение выглядит как предательство.

— Эту фразу вы повторяете перед зеркалом?

— Только перед людьми, достаточно взрослыми, чтобы понять.

Он снова включил фотографию мамы. Она сидела среди разорванных листов, лишённая голоса, а Максим стоял рядом — живое оружие, наведённое на собственный дом. Боль перестала быть чувством и превратилась в мясо, зажатое между рёбрами. Если я ошибусь, они уничтожат друг друга. Если поверю Лису, помогу ему довести дело до конца. Если откажусь, дети останутся заложниками. В этой комнате не было правильного решения. Было только решение, которое оставляло мне возможность солгать убедительнее.

Я позволил плечам опуститься. Закрыв лицо ладонями, задержал дыхание и вызвал в памяти самый страшный образ: мама пытается позвать меня и не может. Слёзы пришли настоящие. Манипулятору труднее отличить игру, когда боль была настоящей; я лишь направил её в нужную сторону. — Что я должен сделать? — спросил я глухо.

Лис не улыбнулся. Умные хищники не показывают зубы, когда добыча сама подходит ближе. — Дать показания комиссии. Рассказать о вспышках агрессии Максима, его провалах памяти, необоснованных решениях. Подтвердить, что он называл тебя сыном, хотя официальный тест исключил отцовство. Затем убедить двух офицеров поддержать временное отстранение.

— И после этого вы отпустите их всех?

— Дарину, детей и Вороновых.

Я подвинул к нему чистый лист. — Письменно. Пусть обещание не исчезнет вместе со звуком.

— Разумеется, — произнёс Лис с той вежливостью, которой обычно прикрывал ловушку.

— С перечнем имён. — Я назвал каждого про себя, чтобы он не смог превратить семью в удобное «остальные».

— Ты быстро учишься.

Лис не ограничился показаниями. Он положил на стол карту с отмеченным офисом Радича и потребовал найти то, что Стефан успел вынести из архива: ключ, исходный файл или первый указатель. Только после этого подвинул к себе лист и написал: «семья». Я накрыл слово ладонью. — По именам.

Улыбка Лиса едва заметно стала тоньше. Он вписал Дарину, дочь под её сердцем, Таю, Марка и Глеба. Я заставил его добавить врача для мамы, совместное содержание младших и операцию для Глеба. Он писал медленно, одним и тем же пером, и каждое имя походило на маленькую оплаченную жизнь. На себя я не попросил ничего. Если он хотел купить мою ложь, пусть платит не словом «все».

— У меня талант выбирать плохих учителей.

Лис придвинул чашку воды. Теперь, по его мнению, я её заслужил. Я выпил медленно, скрывая лицо за стеклом, и снова посмотрел на остановленную запись. За плечом Максима виднелись электронные часы оперативного зала.

— Ещё раз, — попросил я.

— Хочешь запомнить, за что предаёшь?

— Хочу не перепутать ни одного слова, когда буду врать против него.

Лис оценил ответ и нажал на воспроизведение. Я не следил за тенями, папками или лицами. Смотрел на часы за плечом отца. Пока Максим произносил одну и ту же фразу, цифры на стене вдруг перескочили на пять минут вперёд. Следующая фраза отца легла слишком ровно. Между ней и предыдущей жила вырезанная пауза — пять минут, которых Лис рассчитывал лишить и запись, и нас. Я не подался к столу. Только крепче сжал стакан, скрывая, что уже увидел шов.

— Остановите, — сказал я. — Можно медленнее?

Медленное воспроизведение не дало новой улики. Оно было и не нужно. Я поднёс чашку к губам и позволил воде пролиться на рубашку. Пальцы дрожали и без игры; сотрясение и боль делали своё дело. Теперь эта дрожь работала на меня. — Хватит, — выдохнул я. — Какой ещё архив нужен, если вы и так можете сделать из него всё, что хотите?

Лис выключил запись. В его лице ничего не изменилось, но он стал чуть внимательнее. Если бы я бросился к монитору и закричал о монтаже, он понял бы всё. Поэтому я впился ногтями в ладонь и сказал то, что он ждал: я согласен. Слова ободряли горло, зато лицо осталось пустым, как серое стекло между нами.

Лис назвал меня умным мальчиком и впервые за весь разговор удовлетворённо откинулся на спинку кресла. Я велел больше так меня не называть. В ответ он спросил, как ещё назвать семнадцатилетнего, который наконец понял, что семью надо спасать не от них, а от собственного отца. Я позволил этой фразе ударить и не дал себе вздрогнуть.

Я стёр с лица последнюю реакцию. Плечи обмякли, взгляд застыл на погасшем планшете. Сейчас не было важно, поверил ли он в мою поломку. Мне были нужны две вещи: выйти из этой комнаты и получить доступ к исходным файлам Радича. Если там хранились необрезанная запись, журналы лаборатории или данные о сеансе Захарского, я смогу не только вытащить наших. Я смогу показать Максиму, где именно его жизнь разрезали и склеили заново.

Я шёл в камеру, опустив голову, как человек, которого сломали. И впервые с момента захвата точно знал, где у Лиса проходит шов.

Глава 6

На следующее утро, к девяти, я приготовил четыре запечатанных конверта вместо списка вопросов. Три вида наручников остались в шкафу. После вчерашнего разговора меня интересовали уже не слёзы Дарины и не то, как быстро она сумеет вывести меня из равновесия. Я хотел увидеть, где именно чужая версия начинала расходиться с бумагой.

Её привезли в кресле, хотя идти она могла сама. Врач настояла: после скачков давления и бессонной ночи беременная пациентка не должна тратить силы на длинные коридоры. Дарина спорить не стала, только положила ладонь на округлившийся живот, когда колёса ударились о порог. Девочка под тканью ответила движением.

От толчка Дарина беззвучно выругалась. Голос так и не вернулся, но дыхание оставалось ровным. Этой знакомой ярости хватило, чтобы я перестал называть её молчание спектаклем.

— У вас мало времени, — сказала врач, оставляя воду и кнопку вызова. — Если заболит живот, закружится голова или девочка перестанет двигаться, зовите меня. И не спорьте.

Она посмотрела не на Дарину — на меня. Пришлось кивнуть. Охранники сняли с неё мягкие фиксаторы ещё в коридоре и вышли. Я оставил дверь незапертой со стороны медицинского блока, включил запись и поставил таймер так, чтобы цифры видели мы оба.

Дарина села напротив. Длинные тёмные волосы были собраны на затылке, разбитая губа затянулась тонкой коркой. Светло-голубые глаза под лампой отливали сиреневым. Ни просьбы, ни покорности — только усталое ожидание женщины, которой надоело объяснять собственную жизнь человеку с чужими воспоминаниями.

Я раскрыл первый конверт. Внутри лежали два варианта одной фотографии. На том, который хранился в папке Лиса, Дарина стояла рядом со Стефаном, а его ладонь будто лежала у неё на плече. На полном кадре между ними был край кресла; пальцы Радича касались деревянной спинки. Справа находились Тая, Марк и ещё трое людей, вырезанных вместе с половиной комнаты.

— Когда это снято?

Дарина написала дату и добавила: «После эвакуации семей. Стефан привёз лекарства». Потом ткнула ручкой в нижний угол. На полном снимке сохранились дата и метка исходника; копию Лиса обрезаю раньше, чем она успевала их показать.

— Он часто привозил тебе лекарства?

«Детям. И раненым. Не мне».

Ревность поднялась привычно, но в этот раз я прижал к ней ладонь и не дал вести разговор. Перевернул снимок, сверил метку с описью и написал на полях: найти оригинал, накладную на лекарства и всех, кто попал в полный кадр. Дарина следила за ручкой. Когда я не порвал страницу, её плечи едва заметно опустились.

— В папке этот снимок назван свидетельством вашей связи.

«В папке нет половины комнаты».

Я положил оба кадра рядом. Вырезанные люди не делали Дарину невиновной во взрыве, но меняли смысл ладони Стефана и всей сцены. Этого хватало, чтобы не рвать бумагу.

Во втором конверте лежал стоп-кадр из записи с Андреем. Дата противоречила отметке на границе и платежу с заправки в сотнях километров от штаба. Андрей не мог в одно и то же время стоять рядом с Дариной и расписываться на пункте пропуска. Я развернул документы к ней.

— Он мог передать телефон другому.

Дарина написала: «Мог. Но тогда на записи не мог стоять рядом со мной». Ни торжества, ни усмешки. Ниже добавила: «Мы говорили по защищённой связи. Лицом к лицу встретились позже, уже после моего бегства».

Я поднёс кадр к свету. Контур вокруг плеча Андрея плыл, а тень под его подбородком ложилась не туда, куда падали остальные. Раньше это называли помехой. Теперь я видел чужой край, пришитый к её комнате.

— Семь секунд между словами тоже появились из-за компрессии?

Она отрицательно покачала головой и написала полную фразу: «Убери его из руководства операцией, пока мы не найдём утечку». В копии оставили начало и конец, превратив служебное отстранение в приказ убить меня. Я включил звук. До разрыва гудела вентиляция, после осталось другое эхо. Кто-то вырезал середину фразы и соединил два разных мгновения. Исходника в папке не было.

— Кто сделал запись?

«Оригинал должен быть в резервном архиве. Спроси, почему тебе дали только обрезок».

Я не любил, когда обвиняемые учили меня работе. Ещё больше не любил, когда они оказывались правы. На полях появилась вторая строка: забрать оригинал до того, как люди Лиса успеют прикоснуться к нему ещё раз.

Дарина потянулась к воде. Я подвинул стакан, не касаясь её пальцев. Она сделала несколько глотков и приложила ладонь к животу. На таймере оставалось чуть больше половины срока. За стеклом врач подняла тонометр; мы сделали перерыв, пока манжета сжимала руку. Давление было выше обычного, но ниже вчерашнего, сердцебиение дочери — ровным.

— Ещё четверть часа, — сказала врач. — И не заставляйте её писать длинные объяснения.

В третьем конверте лежала распечатка с телефона Дарины. Маршрут ушёл уже после того, как Андрей забрал у неё аппарат. В папке оставили её имя, но убрали всё, что могло показать чужую руку. Кто-то почистил улику так же аккуратно, как обрезал фотографию.

— Ты утверждаешь, что сообщение отправил Андрей.

Она написала: «Утверждаю, что телефона у меня уже не было». Затем назвала двух людей, видевших, как брат положил аппарат в карман, и место, где это произошло. Один свидетель погиб, второй числился пропавшим. Удобная для неё пустота — и всё же конкретные имена, которые можно искать.

— Почему он забрал телефон?

«Думал, что через него отслеживают меня. Хотел вывезти из здания».

— А ты вернулась.

«За тобой».

Два слова легли между нами тяжелее всех конвертов. Я не стал спрашивать, почему. Вопрос принадлежал мужу, а не командиру, и я пока не понимал, где заканчивается один и начинается другой.

Последним был отчёт о захвате убежища. Его составили за сорок минут до того, как группа вошла во двор, а в тексте уже стояли число задержанных и моё «сопротивление». Либо автор знал будущее, либо после операции отмотал часы назад. Оба варианта превращали подпись в мусор.

Дарина прочитала первую страницу, нашла абзац о нападении на бойца и написала: «Я закрыла линию огня, когда заплакал ребёнок. Никого не била». Запись с брони показывала то же. После ареста командира я забрал оригинал в свой сейф, подальше от отдела Лиса.

— Второй приказ требовал напугать тебя для Лиса. Ты знала, кто его передал?

«Нет. Командир сказал только, что муж должен увидеть мой страх».

— Ты решила, что это Лис.

«Кому ещё выгодно, чтобы ты увидел меня сломанной именно его руками?»

Я не ответил. Вопрос был опасен тем, что совпадал с моим собственным. Лис показал Якову мой обрезанный приказ, мне — обрезанную фразу Дарины, а каждому из нас заранее

объяснил, как понимать реакцию другого. Он не требовал лжи безупречной. Ему хватало, чтобы мы не сверяли края.

Таймер подал короткий сигнал. Врач открыла дверь, но Дарина не поднялась. Она указала на последнюю фотографию в папке: разрушенное убежище, двенадцать тел под серыми покрывалами. Её пальцы перестали дрожать. Я попросил ещё немного времени и развернул снимок к ней.

— Здесь погибли двенадцать человек. Трое служили со мной до взрыва. Ты знала их имена?

Дарина долго рассматривала снимок, затем написала: «Сергей Малинин. Олег Рудов. Тимур Сафиуллин». Я замер. В отчёте были указаны только фамилии.

— Откуда?

«Я помогала вытаскивать тела».

— Удобный способ узнать погибших.

Она прижала ручку к бумаге так сильно, что побелели пальцы: «У Сергея была фотография дочери в нагрудном кармане. Олег ещё дышал и просил передать жене, что не испугался. Тимур умер у меня на руках, пока я зажимала рану». Я видел эти фотографии в закрытом архиве. Видел заключения, где время смерти совпадало с её словами. Но архив мог быть украден, сведения — переданы. Для каждой правды находилось безопасное объяснение, если достаточно сильно боишься ей поверить.

— И при этом ты защищаешь Вороновых, которые организовали нападение.

«Я защищаю тех, кто не виноват».

— Решила заменить собой суд?

«Нет. Пытаюсь вернуть суду зрение».

Я отодвинул лист так резко, что он скользнул к дальнему краю стола. Она написала: «Ты всегда ненавидел слепое подчинение».

— Ты рассказываешь мне, что я любил и ненавидел, будто составляешь инструкцию к оружию.

«Я напоминаю человеку, кем он был».

— А если этого человека никогда не существовало?

Ручка остановилась. Дарина подняла глаза, и в них появилась такая боль, что меня вывернуло до мурашек вдоль позвоночника.

«Тогда кого я любила?»

— Возможно, собственную выдумку.

Она написала медленно: «Выдумка не держала меня за волосы, когда меня тошнило во время беременности. Не спала на полу возле детской кровати. Не учила Якова завязывать шнурки. Не плакала, думая, что я не вижу».

— Я не плачу.

«Плакал. Один раз. Когда решил, что не достоин детей».

Я скомкал бумагу, но пальцы задрожали. В голову ворвалась белая детская: маленькая ладонь в моей руке, влажное тепло на щеке. Картинка ударила так сильно, что я промахнулся мимо корзины и смятый лист упал на стол. Дарина увидела. Я тоже. Мы оба сделали вид, что ничего не произошло.

— Что ты со мной делаешь?

Дарина побледнела. Написала: «Ничего. Ты вспоминаешь».

— Не произноси это как победу.

«Для тебя это боль. Для нас — возвращение».

— Для кого «нас»?

Она написала имена детей один раз. Рядом с Яковым нарисовала кривой сломанный нос; с Тасей — ладонь, лежащую на голове брата; с Марком — рельсы из карандашей. Под «дочью»

появилась одна крошечная звезда — так малышка, по словам Дарины, толкалась на мой голос. Это была не хронология. Это был дом, нарисованный четырьмя движениями ручки. Я разорвал лист.

Дарина закрыла рот ладонью. Слёзы хлынули внезапно, без красивой паузы. Она наклонилась, собирая обрывки, прижимала их к груди, будто я только что разорвал фотографии детей. Плечи тряслись, но ни звука не было. Её безмолвный плач оказался страшнее истерики, которую я ожидал: он не требовал зрителя, не торговался, не давил на жалость. Он просто происходил, потому что боль больше не помещалась внутри. Я обошёл стол.

— Это всего лишь бумага.

Дарина резко подняла голову и написала на уцелевшем углу: «Для тебя — да».

— Имена существуют независимо от листа.

«Тогда не позволяй Лису вырвать их из твоей жизни».

Я отступил, словно она ударила.

— Ты используешь детей.

«Нет. Я прошу отца увидеть их».

— Я не их отец.

Она посмотрела на меня так прямо, что ложь застряла между рёбрами.

«Скажи это, глядя каждому в глаза».

— На суде скажу.

«Нет. На суде ты будешь смотреть на документы. Посмотри на них».

Она вытянула из папки другой снимок. На нём я стоял за плечом семилетнего Якова; у мальчишки был заклеен нос, а моя ладонь лежала у него на затылке. На обороте моей рукой было написано: «Яков. Не злить директора до пятницы». Почерк можно было подделать. Но я уже слышал его голос в умывальной: «Не трогай. Я сам». Я положил снимок поверх разорванного списка.

— Детей легко научить прижиматься к чужой руке, — сказал я и провёл большим пальцем по своей надписи. — И почерк можно подделать.

Дарина перевернула фотографию обратной стороной ко мне и подчеркнула слово «Яков». Отвечать не стала. Я смял её записку. Фотографию оставил лежать рядом с конвертами — лицом вверх.

— Почему Радич на семейном снимке?

«Потому что помогал семье».

— Слишком часто он помогал именно тебе.

Она устало прикрыла глаза и написала: «Ты снова ревнуешь».

— Мне нужны мотивы.

«В своё сердце загляни».

Я ударил ладонью по столу. Она не вздрогнула.

«Пять лет твоего отсутствия я жила одним вдохом — от закрытого гроба до твоего возвращения. Я знала, что могила врёт. Не знала только, успею ли дожждаться, когда ты сам её разобьёшь. Не потому, что у меня не было возможности начать заново. Потому что наши пятнадцать лет не поместились в гроб без тела».

Дарина написала: «Я хочу, чтобы ты поверил не в мою святость, а в свою незаменимость». Эта фраза оказалась точнее и жестче любого обвинения. Она не делала себя безупречной — делала меня единственным. А я не знал, что страшнее: поверить ей или признать, что женщина могла принести мне такую верность, а я ответил судом. Я сжал лист в кулаке. Бумага смялась, но не порвалась. Дарина смотрела на мою руку, и слёзы снова текли по лицу.

Смятый лист лёг поверх остальных. Комната всё равно казалась кладбищем фраз, а я — палачом, который боялся не её лжи, а того, что среди этих слов окажется одно, способное вернуть меня к жизни. Наконец ручка выпала из её пальцев. Дарина прижала ладонь к низу

живота и закрыла глаза. Дыхание стало частым, на висках выступил пот. Таймер уже закончился; продолжать разговор после этого означало сознательно рисковать ею и ребёнком. Я поднялся прежде, чем успел решить.

— Что с тобой?

Она отмахнулась.

— Врача?

Отрицательный жест. Я налил воду и поставил перед ней. Дарина не взяла. Тогда сам поднёс стакан к её губам. Она посмотрела на меня с тихим потрясением — так, будто жест был интимнее поцелуя. Её губы коснулись стекла возле моих пальцев, и меня обдало жаром, совершенно неуместным в комнате допросов.

— Пей.

Она сделала несколько глотков. Капля воды осталась у уголка рта. Я стёр её большим пальцем и только потом понял, что сделал. Дарина замерла. В голову ворвалась тёмная спальня, её смех, моя ладонь на том же месте. Я отдёргнул руку и отступил так резко, что бедром задел стол. Стакан опрокинулся. Вода потекла между нами по листам и конвертам. Мне нужно было не дать ей увидеть, как сильно я испугался собственной руки.

— Манипуляция окончена.

Она взяла ручку и написала: «Ты сам подошёл». Чернила расплылись на влажном листе. Я вызвал охрану. Когда дверь открылась, Дарина собрала пустой блокнот, но я забрал его.

— Материалы допроса остаются здесь.

Она написала внизу последней страницы: «Тогда оставь и меня. Я тоже материал твоего прошлого». Я молча положил записку поверх остальных, не дав охранникам её прочесть.

— Допрос окончен, — сказал я, когда врач вошла в комнату. — Сначала давление и ребёнок. Потом отвезите её обратно. Без наручников.

Дарина встала не сразу. Врач помогла ей подняться, поддерживая под локоть, и убедилась, что голова не кружится. У двери Дарина обернулась и протянула мне последний лист: «Не верь мне. Сверх края». Я взял его прежде, чем успел придумать грубый ответ.

Когда дверь закрылась, охранник спросил, убирать ли стол. На полу лежал один разорванный лист — тот, где Дарина написала имена детей. Я приказал оставить всё как есть и выключить внешнюю запись только после копирования на защищённый носитель. Остальные страницы были целы, пронумерованы и лежали рядом с конвертами.

Я совместил две половины детского списка, закрепил прозрачной лентой и положил поверх медицинской карты. Единственный разрыв выглядел глупо и страшно: Яков остался на одной половине, Тая, Марк и нерождённая дочь — на другой. Одно движение руки разделило семью точнее, чем все речи Лиса.

До полудня мне принесли оригиналы. Полная фотография оказалась старше обрезка в деле. В резерве нашлась и полная фраза Дарины. А отчёт о захвате всё ещё описывал будущее. Я разложил три листа рядом. Ложь была не безупречной — её просто никто не заставлял стоять рядом с правдой.

Это не делало Дарину невиновной. Зато делало моё дело грязным. Я убрал оригиналы в отдельный сейф и приказал двум людям из разных смен работать вместе и не обсуждать находки с Лисом. Отметка на границе и платёж на дороге тоже остались на столе. Андрей не мог быть в двух местах одновременно, как бы меня ни приучали верить в обратное.

Мне осталось два объяснения. Либо Андрей за несколько часов преодолел расстояние, на которое машине требовались почти сутки, либо его фигуру вставили в чужой кадр. Первая версия не выдерживала ни карты, ни отметок времени. Я перечитал записку Дарины: «Не верь мне». Она не просила заменить папку Лиса её словами. Предлагала сделать то, что я обязан был сделать с самого начала: посмотреть на оригиналы, время, подписи и людей, которым выгоден единственный вывод.

Лис вошёл без стука около часа дня. Остановился у пустого кресла и улыбнулся так, словно всё время стоял у двери и слушал наш разговор.

— Яков согласился дать показания комиссии, — сообщил он. — Он расскажет о твоей нестабильности и приказе уничтожить убежище.

— Комиссия ещё не получила его показаний.

— Предварительное согласие есть.

Я подвинул к нему копию отчёта о захвате. Красная отметка времени стояла рядом с описанием сопротивления Дарины — за сорок минут до того, как группа вошла во двор.

— Твои люди снова написали будущее заранее. Как сейчас с Яковом.

Лис не опустил взгляд. Только палец дважды постучал по бедру — знакомый жест, которым он сдерживал раздражение.

— После сеанса ты стал подозрительным, — сказал Лис. — Громов может вернуть тебе стабильность.

Он сказал лишнее и понял это на последнем слове. До сейчас он и Громов говорили о лечении. Теперь выяснилось, что им была нужна моя прежняя «стабильность». Лис на секунду отвёл глаза. Этой секунды мне хватило.

— Громов больше меня не лечит, — произнёс я. — К Дарине и детям он не приближается. И твои люди — тоже.

— Боишься, что жена заставит тебя снова изменить решение?

— Боюсь людей, которые приносят мне обрезанный кадр и называют мою ярость диагнозом. Полную фотографию, исходную запись и журналы увидит независимый специалист. До этого ты не трогаешь ни Дарину, ни Якова.

Лис посмотрел на четыре конверта, на склеенный лист с именами и на включённый таймер, остановившийся ровно на разрешённой врачом отметке. Усмешка вернулась, но теперь была тоньше.

— Собираешь новую версию семьи из бумаги?

— Ищу человека, который резал старую.

Он ушёл, не попрощавшись. Я не стал рвать ни один лист. Вместо этого поднял склеенный детский список и переложил его на фотографию Якова. Прозрачная лента пересекла имя мальчика. Я провёл по ней пальцем и вызвал охрану: пусть готовят мне встречу с Громовым. Впервые я хотел не ответа из папки. Я хотел увидеть лицо человека, который так боялся моего сомнения, что назвал его болезнью.

Глава 7

К вечеру после допроса паника началась не с боли. Сначала комната стала меньше. Стены медленно сдвинулись, потолок опустился, и я вдруг решила, что воздух больше не проходит, хотя грудь продолжала подниматься. Я сидела на кровати с блокнотом на коленях, записывала имена детей, чтобы не оставить страху свободного места, но буквы поплыли, а ручка выпала из пальцев. Я вдохнула. Воздух остановился у ключиц. Ещё раз. Ничего.

Паника рванула из живота вверх, сжала рёбра. Перед глазами возникли снег, тяжёлый ботинок возле лица, чужая ладонь на подбородке и красный огонёк на чужой броне. Я снова стояла там на коленях, связанная и униженная, и не могла позвать ни мужа, ни детей. Ударила ладонью по двери. Раз. Второй. Третий. Звук получился жалким, почти вежливым, а мне хотелось разбить металл лбом, заставить весь штаб услышать, как молчаливая женщина умирает в комнате рядом. Замок щёлкнул.

Максим вошёл с пистолетом в руке, готовый встретить нападение. Увидел меня на полу и замер. Я схватилась за ворот рубашки, дёрнула ткань, показывая: не могу дышать. Его лицо изменилось мгновенно. Исчезли холод, подозрение, тщательно надетое равнодушие. Он убрал оружие и опустился передо мной на колено.

— Дарина. Смотри на меня.

Я смотрела. В синие глаза, которые столько раз были моим домом и столько же — разговором.

— Медленный вдох.

Я покачала головой, вцепилась ему в предплечье. Воздуха не было. Лёгкие горели, сердце билось о рёбра так, словно пыталось само вырваться наружу и вдохнуть за меня.

— Врача сюда! — рявкнул Максим в коридор.

Потом обхватил моё лицо ладонями.

— Не закрывай глаза. Дыши со мной.

Он вдохнул медленно, заставляя повторить. Я попыталась. Горло сомкнулось. Перед глазами потемнело. Максим поддержал меня под плечи и помог сесть на полу боком, не прижимая живот. Одну ладонь положил между лопаток, второй удерживал затылок, заставляя меня смотреть только на него.

— Дыши, девочка. Дыши.

Мир остановился. Так он говорил раньше. В те ночи, когда я просыпалась от кошмаров; в больничной палате; во время родов, когда меня выворачивало от боли, а он держал за руку и требовал остаться с ним. Не «обвиняемая». Не «Воронова». Девочка. Я подняла голову. Максим тоже понял, что сказал. Но оттолкнуть не успел: в комнату вбежали врач и медсестра.

— На кровать, быстро.

Максим и медсестра помогли мне подняться. Он придерживал плечи, она — бёдра, и на кровать меня уложили на левый бок, пока врач закреплял датчик на пальце.

— Воздух идёт, — сказал врач, не убирая пальцев с моего пульса. — Не ловите его. Короткий вдох, долгий выдох. Смотрите на мою руку.

Его ладонь медленно опускалась, задавая ритм. Максим дышал рядом, и я следила только за его плечами. Воздух всё это время входил в лёгкие. С каждым выдохом пальцы на простыне разжимались, а звон в ушах становился тише.

Медсестра подложила под живот свёрнутое одеяло, ослабила ворот рубашки и спросила, есть ли кровь или резкая боль. Я покачала головой и показала двумя пальцами: дочь толкалась совсем недавно.

— Ещё один выдох, — произнёс Максим. Его голос стал ниже. — Я здесь.

Я узнала этот ритм раньше, чем вспомнила слова. В родильной палате Максим так же растягивал последнюю гласную, чтобы мне было куда уложить выдох. Я тогда вцепилась ему в пальцы и прокусила губу, чтобы не закричать. Между схватками увидела кровь у него на ладони: мои ногти рассекли кожу, а он даже не попытался высвободиться. Врачи говорили цифрами и короткими командами, кто-то поправлял датчик, кто-то требовал не тратить силы, а Максим один называл меня по имени. Когда я сказала, что больше не могу, он не соврал, будто всё почти закончилось. Ответил: «Тогда я смогу за тебя. Только дыши». Это было нелепо — дышать моими лёгкими он не мог, — но я поверила и пережила следующую схватку. Он не просил меня быть храброй. Просто просил остаться с ним ещё на один выдох. Сейчас на его ладони не было моих следов, между нами лежали годы ненависти, но прежний ритм всё равно пробился сквозь них. Я вцепилась в его голос так же отчаянно.

Я повторила за ним. На четвёртом цикле чёрные точки перед глазами исчезли, на шестом перестали неметь пальцы. Врач вслух называл цифры пульса: сто двадцать, сто двенадцать, сто четыре. Максим не касался меня без необходимости, только держал ладонь на краю матраса там, где я могла сама найти её.

Когда дыхание выровнялось, врач посветил в зрачки, послушал лёгкие и спросил о боли. Я дышала свободно. Голос не вернулся.

— Это паника, — сказал он. — Воздух проходит. Но после такого приступа вы ослаблены, поэтому сейчас не вставайте без помощи. Если грудь снова сдавит, сразу зовите нас.

— Что делать, если начнётся снова? — спросил Максим.

— Помочь сесть или лечь на бок. Убрать лишних людей, говорить коротко, задавать выдох и звать нас. И не объяснять ей, что страх ненастоящий.

Медсестра нанесла гель на живот и закрепила два датчика. Комнату заполнил частый стук — сто сорок шесть ударов в минуту. Дочь шевельнулась под ремнём, толкнула прибор и заставила дорожку на секунду сбиться. Врач поправил датчик, дождался ровной линии и проверил, нет ли регулярных сокращений.

— С дочерью сейчас всё хорошо. Кровотечения и схваток нет. Давление повысилось от паники; через пятнадцать минут измерим снова. Успокоительное без меня не давать.

Максим посмотрел на монитор, а не на меня. Жила у него на виске дрогнула в такт быстрому сердцу дочери.

— Доступ к палате только врачу и одной медсестре, — сказал он. — Лис, Громов и допросная группа входят по моему письменному разрешению.

— Вы тоже подчиняетесь медицинским ограничениям, командир, — ответил врач. — Сегодня никаких допросов. Если ваше присутствие снова поднимает давление, выйдете по первому моему слову.

Максим хотел возразить, но я сжала два пальца на его рукаве. Не удерживала — просила остаться. Он посмотрел на мою руку и замолчал. Врач положил передо мной планшет и спросил, случались ли такие приступы раньше. Я написала: «После его исчезновения. Когда дети тяжело болели. Когда снился взрыв». Слова о могиле оставила при себе; сейчас мне не хотелось снова превращать срок нашей разлуки в оружие.

— Что помогало?

«Старые записи его голоса. Я включала их и считала выдохи».

Максим прочитал через плечо врача. Я добавила: «Ты всегда говорил „девочка“ и тянул последнее слово». Он отвёл взгляд, будто это маленькое знание было неприличнее прикосновения.

— Хорошо, — сказал врач. — Используем знакомую инструкцию, раз она снижает частоту дыхания. Но рядом всегда остаётся медик, пока давление нестабильно.

Через четверть часа манжета показала сто тридцать шесть на восемьдесят семь, пульс — девяносто восемь. Под заданный Максимом ритм дыхание выровнялось; цифры на мониторе опустились без спора и красивых объяснений.

Врач назначил покой, тёплую еду, воду маленькими глотками и ещё одну проверку дочери через час. Медсестра осталась у кровати. Максим отошёл к окну. При резком повороте чёрная рубашка натянулась на давнем рубце от ножа, и он на миг прижал к боку локоть.

Только когда дочь снова толкнулась и на ленте остался ровный ритм, Максим сел у стены. Дальше, чем прежде, — и всё равно достаточно близко, чтобы я слышала его медленное дыхание. Врач ушёл оформлять назначения, медсестра осталась с нами.

Медсестра показала мне ампулу железа, номер партии и назначение врача, затем вскрыла упаковку при мне. Я кивнула. После Громова доверие начиналось не с ласковых слов, а с прозрачного пластика, целой пломбы и чужой подписи в карте. Максим прочитал схему дважды. Отдельно подчеркнул строку, запрещающую менять препараты без согласия акушера, и велел продублировать её на двери палаты. Когда медсестра отошла к капельнице, я написала: «Ты ему не доверяешь».

— Я не доверяю нарушениям порядка.

«Ты всегда прячешь страх в порядок».

Он сложил лист, но не порвал. Сел так, чтобы видеть монитор и дверь, затем спросил, почему я почти не ела после захвата. Я написала о горечи после старых инъекций Громова, о провалах в памяти и о том, как трудно проглотить то, что приносит человек без имени и упаковки.

Максим молча вызвал кухню медицинского блока. Потребовал маленькую порцию, полный состав и запечатанный контейнер. Самого Громова не назвал, однако следующей фразой запретил его людям входить в помещение с лекарствами.

«Дети», — написала я.

— Ты уже видела Таю и Марка.

«Без звука. Десять секунд. Я хочу услышать их».

Она подняла два пальца — две минуты, если давление не изменится. Максим достал служебный планшет и предупредил охрану, что включит прямую связь, а не запись.

Открылась живая связь с той же комнатой без окон. Тая стояла у двери и спорила с кем-то за границей кадра. Двигалась свободно и только при резком повороте на миг замерла, пока в боку не отпустило после долгой дороги. Марк сидел на полу и складывал из карандашей рельсы.

Она приблизилась к планшету, быстро оглядела меня, капельницу и датчики. — Живот не болит? Девочка толкается? Тебя кормили? Где Яша?

Я не могла ответить голосом, поэтому показала большой палец, ладонью обозначила движение ребёнка и подняла лист: «Яша и Глеб живы. Я рядом с врачом». Тая прочитала вслух для брата, но сама не успокоилась.

— Нас держат вместе. Комната внутри здания, окон нет. Дверь открывают по коду из шести цифр. Утром за стеной дважды прошёл поезд или что-то тяжёлое — стакан дрожал. Охранники меняются после второго сигнала.

— Не сообщай ей устройство сектора, — вмешался мужчина за кадром.

Тая повернулась к нему с такой холодной ненавистью, что на секунду стала точной копией меня. Затем снова посмотрела прямо на меня и подняла два пальца, потом четыре, потом один. Цифры могли быть кодом, номером комнаты или просто способом заставить охранника нервничать. Я запомнила их.

Марк слышал мужской голос возле моего планшета и поднял голову. В кадре Максим не показывался, но край его чёрного рукава отражался в стекле над моей кроватью. Мальчик подошёл ближе, всмотрелся и спросил тихо:

— Это папа?

Комната словно потеряла воздух второй раз, но теперь я продолжала дышать. Максим застыл с планшетом в руках. Пятилетний сын не мог помнить его живым — только фотографии, мои рассказы и голос на старых записях. Я повернула экран на несколько сантиметров. Максим мог отойти, выключить связь или спрятаться за приказом. Он остался в отражении. Марк прижал ладонь к стеклу.

— Он правда не умер?

Я написала: «Правда». Потом посмотрела на Максима и добавила: «Он рядом». Тая увидела его первой. Лицо дочери стало белым, но она не заплакала. Встала перед Марком, будто даже через расстояние собиралась защищать младшего, и произнесла каждое слово отдельно:

— Если снова уйдёшь, я тебя сама похороню.

Максим не ответил. Только перевёл взгляд на отметку прямого эфира, словно искал монтаж, который мог бы объяснить тринадцатилетнюю ярость. Врач постучала по стеклу: время.

— Связь закончена, — сказал он охране. Голос прозвучал хрипло, но ровно. — Детей не разделять. Тая сама выбирает, кто её осматривает. Марка оставить с ней. Следующая связь — только с разрешения врача.

Связь оборвалась. Я прижала ладонь к животу; девочка двигалась часто, но без боли. Медсестра измерила давление. Оно поднялось на несколько единиц и быстро начало снижаться.

«Почему ты не ответил Марку?»

Максим положил планшет стеклом вниз. Заживший рубец заставил его медленнее опуститься в кресло, но он не коснулся бока.

— Потому что не знаю, что ему сказать.

«Скажи правду. Ты жив».

— Этого мало, чтобы быть отцом.

Я написала: «Яков тоже так думает. У тебя есть время доказать обратное поступками». Максим прочитал и не отвёл взгляда. Палец медленно прижал край листа к столу, точно угрозы Якова и Таи могли выскользнуть, если он ослабит руку. Вопрос Марка остался между нами: «Это папа?»

Медсестра принесла тёплый бульон в закрытом контейнере. Показала состав, открыла крышку при мне и оставила ложку. Я съела несколько глотков, медленно, пока желудок переставал ждать горечи. Максим не приказывал и не считал ложки; лишь попросил врача записать, сколько я смогла. Когда свет приглушили, я написала: «Боюсь уснуть».

— Медсестра останется на посту. Дверь не запрут со стороны врачей.

«А ты?»

Он мог назвать своё присутствие частью наблюдения. Вместо этого молча передвинул кресло к стене, оставляя свободный проход к кровати и капельнице.

— Закрой глаза. Если снова начнётся паника, смотри на монитор и выдыхай на четыре счёта.

Я легла на левый бок. Вскоре страх вернулся тонкой дрожью, и Максим начал считать вслух — спокойно, без приказного металла. На восьмом выдохе плечи расслабились. Медсестра сверила показатели, записала их в карту и осталась у двери.

Последнее, что я увидела перед сном, — Максим держит на колене погасший планшет, а на стекле всё ещё заметен отпечаток ладони Марка. В этой комнате он не обещал стать прежним. Но впервые позволил детям обратиться к нему напрямую и не оборвал связь на слове «папа».

Не знаю, сколько я проспала. Проснувшись от собственного резкого вдоха и долго смотрела на него в полутьме. Максим спал в кресле, запрокинув голову; одна рука лежала на подлокотнике, другая — рядом с выпиской о моих показателях. Без формы и прямой спины он выглядел не слабым, а смертельно усталым. Даже во сне кресло оставалось развёрнуто к моей кровати.

Я спустила ноги на пол. До кресла было три шага. На втором в голове зашумело, и я замерла, придерживая живот. Максим открыл глаза мгновенно. Рука потянулась к кобуре, но он узнал меня и остановился.

— Что тебе нужно?

Я показала на бок, который он невольно берёт при резких поворотах. Максим перехватил мой взгляд. — Это не твоя забота. Он произнёс это слишком быстро. Ладонь на мгновение прижалась к боку и тут же опустилась, словно боль тоже могла проговориться за него.

«Пока ты не упадёшь у моей кровати», — написала я и протянула блокнот.

Он прочитал и встал. Остановился в шаге от меня — ближе не приказывал даже взгляд. Я подняла руку и не коснулась его сразу. Максим видел вопрос, отвёл взгляд к двери, потом снова посмотрел на мои пальцы и едва заметно кивнул. Только тогда я провела ими по его виску и коротким тёмным волосам. Он не закрыл глаза и не подался к ладони. Напрягся так, что под кожей двинулись желваки, но остался на месте.

«Боишься?»

— Да.

Одно честное слово разрезало меня глубже всех обвинений. Я написала ещё: «Я тоже». Малышка двинулась под моей ладонью, и я поморщилась от острого толчка. Максим мгновенно отступил.

— Болит живот?

Я покачала головой, взяла его за рукав и сама сократила расстояние. Живот коснулся его бедра; дочь тут же ответила толчком. Максим задержал дыхание. Два пальца коснулись моей скулы и остановились. — Ты уверена? Он ждал ответа, не торопил и не отнимал руки. Эта непривычная осторожность пугала сильнее приказа.

Я кивнула. Поцелуй начала я: коснулась его губ своими, осторожно из-за разбитого рта. Он замер. Только когда я повторила движение, его ладонь легла на мой затылок, вторая осталась на краю кровати, в стороне от моего живота.

Он целовал меня медленно, будто каждое движение приходилось вспоминать заново. Я держалась за его плечо, чувствуя тепло через ткань, знакомый запах кожи и то, как остро болит внутри каждого из нас.

Эта минута не отменяла ни запертую дверь, ни чужие приказы, ни его обвинения. Она всего лишь вернула мне его запах, тепло и голод, который не исчез за все годы без него.

Я положила ладонь ему на грудь. Максим замер и тут же отступил. Ладонь с моего затылка перешла на плечо, потом исчезла. Он не стал уговаривать, только застегнул верхнюю пуговицу моей рубашки, не касаясь кожи, и сделал шаг назад.

«Спасибо», — написала я.

— Не за что меня благодарить. Между нами ничего не изменилось.

Я коснулась губ и вывела: «Лжёшь себе». Максим прочитал. На мгновение мне показалось, что он снова наклонится. Вместо этого он забрал лист, сложил пополам и спрятал в карман вместе с первой запиской.

— Этого больше не будет.

Я написала на следующем листе: «Не обещай того, чего сам не хочешь». Этот лист он не взял. Провёл ладонью по лицу, осторожнее развернулся из-за тянущего бока и пошёл к двери. У порога обернулся и несколько секунд смотрел на меня, капельницу и живот, под которым двигалась дочь. Дверь за ним закрылась тихо. Впервые за эту ночь он ушёл не потому, что я его оттолкнула, а потому, что понял сам, где должен остановиться.

За дверью слышались шаги. Я замерла, надеясь, что Максим вернулся. Шаги прошли мимо. Он только что обвинял меня и унижал, а я уже ждала его возвращения и злилась на себя сильнее, чем на него. Ночь стала глубже. Я пыталась уснуть, но каждый вдох всё ещё требовал усилия.

Медсестра вернулась с тёплой водой. Спросила, не сдавило ли снова грудь, показала кнопку вызова и подоткнула край одеяла. От неё пахло мятой и кофе, обычной чужой жизнью. Этот запах почему-то успокоил лучше любых цифр на мониторе.

Я легла обратно и повернулась к двери. За ней кто-то остановился так надолго, что я успела отсчитать четыре медленных выдоха. Шаги не вернулись. Я положила ладонь на сердце, вдохнула и поняла: теперь я могла задавать ритм сама.

Перед тем как уснуть, я увидела на тумбе лист с подписью Максима: Громову вход запрещён, назначения не менять, мать и ребёнок не разлучать с врачом ни на миг.

Глава 8

Во сне Дарина говорила. Не царапала бумагу ручкой, не выталкивала из горла пустой воздух и не смотрела так, будто в её светло-голубых, почти сиреневых глазах похоронили целую жизнь, которую я обязан был помнить. Она произнесла моё имя спокойно, почти нежно, и от этого звука меня выворачивало сильнее, чем от крика раненого.

— Максим. — Моё имя прозвучало её голосом так близко, будто она стояла за самым краем сна.

Я стоял перед зеркалом, но отражения в нём не было. Только она — босая, в моей белой рубашке, слишком большой для её тонкого тела, с распущенными тёмными волосами и разбитой губой. Дарина подошла, и я хотел приказать ей остановиться, однако язык прилип к нёбу. В этом сне голос отняли у меня, а ей вернули.

- Не двигайся, Зверь. — Её ладонь легла на мой бок, точно помня место старого рубца.
- Не называй меня так.
- Ты всегда сердился, когда боялся.

Она улыбнулась одними уголками губ, и от этой улыбки внутри лопнуло что-то старое, заржавевшее, намертво вросшее в рёбра. Я знал её. Не как пленницу. Не как жену врага. Не как женщину, которую мне приказали ненавидеть. Я знал, как она щурится от яркого света, как прячет тревогу за издёвкой, как её волосы пахнут холодом и горьким миндалём. Знание было таким точным, что становилось болью. Дарина подняла руку и провела пальцами по шраму под моим левым ребром. Кожа вспыхнула.

— Этот ты получил не в плену, — сказала она. — Ты закрыл меня собой у старого элеватора. Потом трое суток убеждал врача, что пуля прошла навывлет исключительно из уважения к твоему характеру.

- Ложь.
- Конечно. Ты же никогда не спасал меня.

В её голосе не было насмешки, только усталость женщины, которая слишком долго убеждала мёртвого, что он когда-то жил. Пальцы скользнули по рубцу, надавили на узкий излом в центре, и меня пронзило белой болью. Вместе с ней в голову ворвался запах мокрого бетона, пороха и её крови. Чья-то очередь разбила стекло. Дарина кричала. Я толкнул её на пол, накрыл собой и почувствовал, как горячий металл вошёл под ребро. Картинка исчезла прежде, чем я успел схватить её.

- Что ты мне сделала? — спросил я.
- Я любила тебя.
- Это не ответ.
- Для тебя — единственный.

Она приложила ладонь к моей щеке. Я ненавидел себя за то, что наклонился к этому теплу, как человек после долгой жажды. Ненавидел своё облегчение и страшное чувство утраченной близости.

- Когда тебе станет страшно, ищи не лицо. Ищи то, что болит.

— Что должно болеть? — Я стиснул край раковины, пока холодный камень не впился в пальцы.

— Правда, — ответило отражение её губами и исчезло прежде, чем я успел прикоснуться к стеклу.

Зеркало треснуло. По лицу Дарины прошла чёрная линия, потом вторая, третья, рассекая её на осколки. За её спиной возник Лис и положил руки ей на плечи. Я рванулся вперёд, но между нами выросло стекло.

— Она снова заставляет тебя сомневаться, — ласково сказал Лис. — Просыпайся, Максим.

Я ударил в зеркало кулаком и проснулся с резким вдохом, сжимая край простыни. Комната была тёмной, спина мокрой, сердце колотилось так, словно я и правда бежал за ней через разрушенный элеватор. На планшете осталось открытым изображение её комнаты. Дарина спала, повернувшись к двери, ладонь лежала на груди. Плечи медленно поднимались и опускались. Я смотрел до рассвета. Эту правду нельзя было назвать сном.

Я выключил экран и сжал переносицу. «Ищи то, что болит». Красивая фраза, которую легко сочинить во сне. Но под левым ребром всё ещё горело именно там, куда она коснулась во сне. Можно было списать её лицо на навязчивую память. Боль — на неудобную позу в кресле. Я повторил себе оба объяснения и не поверил ни одному.

Я поднялся, подошёл к зеркалу и стянул футболку. Под левым ребром тянулась неровная белая полоса — старое огнестрельное ранение. Ниже белел давно заживший след от ножа Вольского. После ночи в кресле бок ныл при каждом повороте. Я провёл большим пальцем

вдоль верхнего рубца и снова увидел руку Дарины из сна: она легла точно туда, где натягивалась кожа, когда я наклонялся. Случайная женщина не коснулась бы так уверенно. В деле пуля попала в меня при побеге из лагеря Вороновых. Во сне я закрывал Дарину у старого элеватора. Обе истории не могли быть правдой.

Я нащупал излом в центре. Точно там, куда надавила Дарина. Перед глазами снова мигнул бетонный пол. Женская рука в крови. Мой голос: «Лежи, малыш». Не лицо. Не имя. Только животный ужас, что она поднимет голову и следующая пуля разорвёт ей череп. Я отдернул ладонь, словно рубец мог меня укусить.

— Достаточно, — сказал отражению.

Отражение смотрело с презрением. Высокий мужчина с короткими тёмными волосами, синими глазами, покрасневшими от бессонницы, и телом, на котором шрамов было больше, чем достоверных записей в медицинской карте. Теперь один рубец не совпадал с подшитой историей. В дверь постучали.

— Войдите.

Лис появился без приглашения, как всегда появлялся именно тогда, когда я особенно остро нуждался в одиночестве. На нём был безупречный серый костюм, и даже раннее утро не оставило на его лице ни следа усталости. За ним вошёл сухой пожилой мужчина с кожаным чемоданчиком. Его седые волосы были зачёсаны назад, тонкие губы поджаты так, будто весь мир дурно пах.

— Не помешали? — спросил Лис, заметив планшет.

— Ты уже помешал.

— Зато привёл человека, который поможет понять, почему наша гостья так быстро поселилась в твоих снах.

Я медленно надел футболку.

— Я не говорил, что она мне снится.

Лис улыбнулся.

— Ты почти не спал и возвращался к трансляции с пугающей частотой. Либо тебе снится Дарина, либо ты внезапно решил переквалифицироваться в сиделку. Второе оскорбляет мой интеллект.

Хотелось стереть эту улыбку вместе с зубами, но я только перевёл взгляд на незнакомца.

— Кто это? — спросил я, глядя на незнакомца.

— Доктор Громов, нейропсихиатр. Он наблюдал тебя после последней коррекции и подбирал препараты.

Громов поставил чемоданчик на стол и посмотрел на меня профессионально-бесстрастно. Так смотрят не на человека, а на механизм, который однажды уже разбирали и теперь хотят увидеть, не разболтались ли винты.

— Мы встречались? — спросил я.

— Много раз.

— Я вас не помню.

— Именно поэтому я здесь.

Лис сел в кресло у стены. Моя память услужливо показала пальцы Дарины в моих волосах, и меня передёрнуло.

— Расскажите без врачебной шелухи, — приказал я.

Громов открыл чемодан и разложил на столе три фотографии. На первой я лежал на койке с катетером в вене. На второй сидел в кресле, сжимая виски. На третьей смотрел в стену перед собой так, будто за ней можно было спрятаться.

— Это после сеанса Захарского, — сказал доктор. — Вам не давали нормально спать, показывали одни и те же записи и каждый раз объясняли, что именно вы должны в них увидеть. После начались бессонница, вспышки агрессии и ложные узнавания.

Я сдвинул верхнюю фотографию к Громову. — Захарский убеждал меня, что семья меня предала.

— Захарский вкладывал в вас готовую историю.

— А вы? — Я перевёл взгляд на его чемоданчик; Громов машинально прикрыл замок ладонью.

Громов поджал губы, а взгляд Лиса дал ответ раньше слов.

— Я принял вас после. Следил за сном, тревогой и агрессией, подбирал препараты. И повторял вам то, что задал он, чтобы вы не выходили из одной версии прошлого.

— Картина, которую написал он.

— Которая не давала вам расслабиться, — сказал он.

Я взял снимок за край. На обороте стояла дата — две недели назад. Врагом Дарина стала для меня только после сеанса Захарского. Потом Громов принял человека, которого уже сломали ремнями, лишением сна и повторением, и неделями удерживал его внутри одной версии. Теперь мужчина напротив называл это лечением.

— Вас не интересует, почему до сеанса я не считал Дарину врагом, а после стал видеть предательство в каждом её движении?

— Меня интересует ваша безопасность. После встреч с Дариной вы не спите, злитесь и возвращаетесь к изображению её палаты. Контакт с ней делает вас нестабильным.

— Откуда вы знаете, что я видел во сне?

— После лишения сна и внушения люди часто видят такие сны. Обрывки памяти смешиваются с подсказками. Сон не даёт вам ответа.

В этом он был прав. Я не мог объявить ложью каждую бумагу только потому, что мне нравилась другая версия. Но и считать документ истиной из-за печати больше не собирался.

— Кто подписал назначение препаратов? Какие были дозы? Где исходные записи, которые мне показывал Захарский?

— Медицинские журналы хранятся в архиве.

— Тогда мне нужна полная копия. И независимый специалист, которого выберу не вы и не Лис.

Лис поднялся. В его глазах на секунду исчезла дружеская насмешка.

— Громов тебя восстанавливал.

— Я пытаюсь понять, чем меня кололи и что в это время говорили. Новые дозы мне не назначать. К Дарине Громова не пускать. Её лечением занимается акушерская группа.

Громов собрал снимки. Один лист дрогнул в его пальцах, и эта мелкая дрожь сказала мне больше, чем все правильные термины.

— До независимой оценки есть простая мера, — сказал он. — Временно исключите личные контакты с Дариной. Если сны и тревога ослабнут, мы получим измеримую динамику.

— Сколько времени? — Я спросил о памяти, но Лис посмотрел на часы, словно речь шла о сроке годности оружия.

— Несколько дней покажут динамику.

Служебный планшет мигнул. С медицинского поста прислали снимок листа, который Дарина потребовала передать командиру. На нём было написано: «Ты опять не спал». Лис проследил за моим взглядом.

— Вот видишь? Она уже знает, куда бить.

Я выключил планшет.

— Уведите доктора.

— Максим...

— Оба вон.

Лис остановился рядом и произнёс почти по-дружески:

— Если пойдёшь к ней сейчас, то докажешь только одно: поводок всё ещё на твоей шее.

Я повернул голову.

— Ещё слово — и узнаем, на чьей шее он затянется.

Он улыбнулся, но отступил. Громов собрал бумаги. Один снимок остался на столе: я в ремнях, с пустыми глазами. Доктор заметил, однако не вернулся за ним.

Когда дверь закрылась, я взял фотографию. На обороте стояла дата, печать клиники и подпись Громова. Всё выглядело настоящим. Безупречно настоящим. Как медицинское заключение Дарины. Как результаты экспертиз. Как сведения о детях, которые якобы могли принадлежать Стефану Радичу. Лис не давал мне верить памяти — он давал документы, и документы каждый раз требовали предать собственные чувства. Я должен был остаться в комнате. Вместо этого почти сразу уже шёл по коридору. Охранник у двери Дарины вытянулся.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.